

18+

ИВАН ЕВСЕЕНКО (МЛ)

ЧИКВАНТИНО



Иван Евсеенко (мл)

**Чиквантино. Проза
и публицистика**

«Издательские решения»

Евсеенко (мл) И. И.

Чиквантино. Проза и публицистика / И. И. Евсеенко (мл) —
«Издательские решения»,

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** В предлагаемую книгу включены произведения,
написанные автором в разные годы: рассказы, повести, очерки, эссе,
критические статьи. Значительная часть текста опубликована в книгах
«Голова Олоферна» и «Инфант». Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

В ожидании отца	6
ПРОЗА	8
Папин борщ	8
Чиквантино	13
Смерть одинокого человека	19
Авдотья Львовна	23
Тварь	27
Вечные похороны	32
Последний парад	34
Голова Олоферна	38
Инфант	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Чиквантино Проза и публицистика

Иван Иванович Евсеенко (мл)

© Иван Иванович Евсеенко (мл), 2026

ISBN 978-5-0070-5445-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В ожидании отца

О рассказах Ивана Евсеенко (мл)

Музыка и детство, пожалуй, две темы, объединяющие четыре рассказа Ивана Евсеенко. И хотя искать «детское» в рассказах его особо не приходится, а вот «музыкальное» стоит объяснить. Во-первых, есть что-то от музыки в галопом пробегающих перед читателем приключениях Чиквантино, названного так сверстниками за любовь к редкому сорту кукурузы, который он пытается вырастить; на самом деле любовь его не к кукурузе, а ко всему загадочному, что предвещает детский восторг. С пониманием того, что большой загадки жизнь не предусматривает: все понятно и предсказуемо, — наступает и взросление мальчика. Так отгремевшее грохотом приключений и смехом детство заканчивается на задумчиво-философской ноте осознанного умиротворения.

Во втором рассказе, тему детства и взросления подхватывает невольнo риторический вопрос ребенка: зачем умер твой папа? На который отвечает автор воспоминанием, исполненным трепетных и тревожных предчувствий, тоже музыкальным по своей сути и обрывающимся трагической концовкой. Ожидание отца, воспетое в мечтах ребенка, обыгрывается горькой музыкой его потери. Но воспоминание проходит, как мимолетный образ, и снова торжественно вступает жизнь голосом сына.

Третий рассказ начинается почти гоголевской идиллией из «Старосветских помещиков», только вместо супружеской пары бар, одна Авдотья Львовна, в окружении домашнего зверинца, плотно замещающего ей внуков, смакует булочку с маслом, запивая все это цикорием с ромашкой. Но подвох в том, что «муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика». Вот на чем зиждется зерно будущей трагедии, экспозицию которой читатель наблюдает (слышит) уже в первых абзацах. Отсутствие внуков и испорченные отношения с единственной дочерью — звучат как приговор. И он автором приведен в исполнение: засыпая Авдотья Львовна, видит в который раз одни и те же сны, где сама она еще ребенок — грызет ириски, но одна из них забивает сонной женщине трахею. Сон переходит в реальность, только вместо ириски недавно поставленный зубной протез. Муж Авдотьи спит пьяным сном, а любимые животные не в силах ей помочь. Так бесславно обрывается бездетная старость.

Интересен мотив звука ключей. Неуверенно-нежный отцовский перезвон, когда он после долгого мореплавания возвращается домой и нервный «лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке — накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка».

Такого отца никому не прочит автор, но и тот оказывается отчасти лишь жертвой в холодном мире, загнанной в угол своего одиночества женщины, сладострастно мечтающей во сне снова быть девочкой.

А уж, четвертый рассказ — самый гимн молодости и уходящему, во всех отношениях, детству.

«...видавший виды „пазик“ жалобно побряхтывает возле входа в помещение оркестра. Мы — солдаты-срочники, вооружившись надраенными до неестественного блеска инструментами, топчемся на месте в молчаливом ожидании».

Такой музыкой заступает рассказчик. Заостренно перебирая элементы серого солдатского быта: матерщину, вонь, спирт и шутки. Что-то разве детское есть в облике новобранца:

«У „духа“ Жени Мисина, уроженца славного уральского города Миасса, первый за службу жмур. Сидит беспокойно, беспрестанно ерзает, нервно перебирая озябшими пальцами вентили тубы, которая почти одного размера с ним. Рост Жени — метр пятьдесят. Кто-то из

старослужащих зло пошутил, сказав, что по неписаным законам военно-оркестровой службы, в „первый жмур“ „духам“ полагается целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и трясется теперь, боязливо косясь на прожженных „дедов“. Но иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно поправляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую переносицу. Готовится боец!»

Боец — которому главная «инициация» предстоит впереди, как и главному герою и рассказчику. Встреча со смертью ребенка, которую солдаты и бывшие «сверчи» (сверхсрочники) встречают по отъезду с кладбища. В который раз отыграв («Воспроизводить дробь на большом барабане с помощью одной колотушки в заиндевевшей руке — почти искусство».) на похоронах генерала, где даже вой вдовы не смог их тронуть, они наталкиваются на куда более несчастную процессию, движущуюся маленькой группой из молодой пары и старика.

Иван Евсеенко рисует — или, лучше сказать, исполняет — по детски справедливый мир, где учебная граната «зачастую летит не вперед, а куда-то в сторону и попадает либо в одного из одноклассников, либо в вечно недовольного физрука», где бездетная женщина глупо умирает, задохнувшись зубным протезом и где старому генералу достается сухой казенный почет и трубная медь солдатского оркестра, и только истинным проникновением приходит в сердца людей бессмысленная, нелепая смерть ребенка.

Яков Сычиков, — российский писатель, прозаик, критик и литературный редактор

ПРОЗА

Папин борщ

Сёмушка ехал по узенькой каштановой аллее на трехколесном велосипеде, я шел следом и украдкой наблюдал за его маленькими пухлыми ножками, так весело крутящими педали. Прохожие вежливо расступались перед ним, нахваливали, добродушно улыбаясь и вздыхая.

— Дорогу молодым! — провозгласил сидящий на лавке седовласый старик. — Ишь, какой! Молодец, пацан!

Я смотрел на сына с нескрываемым умилением, поражаясь лихости и аккуратности, с которыми он объезжает препятствия. Позавчера ему исполнилось четыре года.

— Папа! — неожиданно остановился он. — А где твой папа?

— Умер... Давно.

— Зачем?

— Заболел и умер.

— А-а... — задумчиво протянул он, но потом отвлекся на барахтающегося в песке воробья, улыбнулся ему и покатил дальше.

«Заболел и умер». Так или примерно так отвечал на подобные вопросы мой отец. Наверное, он тоже в свое время это от кого-то услышал. Может, от своего отца. Фраза закрепилась, осела в сознании непоколебимой аксиомой и наконец дошла до меня. Что ж, удобный ответ. Исчерпывающий, окончательный. Вот такая цепочка. Связь времен и поколений, от старого к малому.

Я давно для себя отметил, что воспоминания об отце живут во мне вспышками, похожими на те, которые возникают в ночном небе в преддверии дождя. Они возникают неожиданно, спонтанно, будто светом своим пытаются предварить очистительную дождевую бурю понимания того, что в действительности значит для меня отец.

Из-за службы на Тихоокеанском военно-морском флоте большую часть жизни он находился в плавании. Учения, морские походы к дальним берегам не позволяли подолгу быть с семьей. Тогда, в безоблачном детстве, это не слишком тревожило меня. Казалось, что так, скорее всего, и должно быть, что подобное, видимо, происходит у всех детей. Мало смущало и то, что моими истинными воспитателями являлись мать и бабушка. Я рос смышленным мальчиком, и им было очень приятно возиться со мной. Отец, возвращаясь из череды командировок, лишь с оценивающей улыбкой смотрел на меня и, поглаживая подернутые ржавчиной прокуренные усы, нутряным басом констатировал:

— Ишь, какой! Молодец, пацан!

В точности, как этот дед на лавке... Покуда я был совсем маленьким, то смотрел на отца, как на Деда Мороза. Еще бы, он появлялся неожиданно. Разумеется, все знали о предполагаемом времени приезда, но для меня это почти всегда оказывалось сюрпризом. Может, потому, что я, как всякий ребенок, уставал ждать и забывал. Порой я настолько утомлялся многомесячным ожиданием, что выуживал из памяти разного рода приметы его возвращений и невольно заучивал их. Странно, но я научился узнавать его по скрежету ключей в замке, которые от нечастого применения долго не могли оживить сувальдный механизм. Одетый в черный китель, пахнущий табаком, гуталином и еще чем-то грубым и мужским, он грузно входил в коридор, небрежно ставил на пол пузатые кожаные сумки и по неосторожности задевал фуражкой люстру, которая словно маятник начинала опасно раскачиваться. (Как я тогда мечтал поскорее вырасти и тоже задевать эту люстру!) Хитро прищурившись, отец осторожно останавливал ее, снимал головной убор и, спешно пригладив начинающие серебриться волосы,

предоставлял нам всего себя. Квартира в одночасье накрывалась волной радости, наполнялась приятной суетой и ожиданием торжества, сравнимого только с Новым Годом и Днем Рождения. В первую очередь он подходил к бабушке — своей маме, трижды целовал ее в бледные морщинистые щеки, ласково гладил по голове. Затем целовал мою маму. И уж после этого брал меня на руки, надевал капитанскую фуражку мне на голову и долго смеялся тому, как забавно я в ней смотрюсь.

— Ничего! В следующий раз бескозырку привезу, — обещал он. — Будешь моряком?

— Не-а! — четко звонил я. — Капитаном хочу!

— Ну, раз хочешь, будешь! Но сначала — моряком.

И так было всегда. Все мое раннее детство пронизано томительно-радостным чувством ожидания отца. В такие дни я даже предположить не мог, что когда-нибудь это может закончиться, оборваться в одно мгновение...

Однажды пришла телеграмма. Мол, ждите завтра. Мы принялись резко готовиться: покупать продукты, звонить родственникам. Помню, как мама достала из глубин шифоньера свое самое красивое шелковое платье с крупными желто-красными герберами и долго гладила его. Бабушка все утро пекла пироги с капустой и варила компот из сухофруктов. Где-то к полудню они решили пойти на рынок купить недостающую зелень и гуся. Я остался один.

Что делал я в те часы? Не помню. Может, уроки, или прибирался в своей комнате. Ведь к тому времени мне исполнилось десять лет. Кажется, я тайком успел пометчать о том, как покажу отцу школьные грамоты и похвальные листы за прошлое полугодие. С гордостью продемонстрирую модель линкора «Советский Союз», который несколько месяцев склеивал по замысловатым чертежам из подаренного отцом научно-популярного журнала. Представлял, как он удивится моему не по годам высокому росту и, наверное, уже не рискнет взять на руки. Я так размечтался тогда, что не услышал звук знакомых шагов в прихожей. Я не поверил своим ушам, ведь этого не могло быть. Все должно было случиться завтра... Но нет, отец уже стоял в коридоре, такой же, как всегда, улыбающийся и родной.

— Сашка! Ты что ж, один? — воскликнул он, увидев, как я со всей мочи бегу к нему.

— Папка! Как я рад!

— А где мама, бабушка?

— Они за гусем пошли на рынок! — почти кричал я, крепко обнимая отца за шею.

— Да?! Ну, ничего. Какой же ты большущий-то вымахал! А я теперь надолго. Ну, рассказывай!

Мы уселись на кухне и некоторое время в радостном молчании смотрели друг на друга. Потом неожиданно рассмеялись, и я без умолку затараторил о своих школьных успехах, о том, как изо всех сил ждал его долгие месяцы, о том, как мы с ним поедем рыбачить и еще о чем-то, как мне казалось, очень-очень важном. Он смотрел на меня немного отстраненно, не слушая будто, но в то же время внимательно, словно пытался уловить во мне скрытые от других, и видимые лишь ему одному перемены. Пару раз потрепал мой непослушный чуб, улыбнулся разорванной на локте рубашке и довольно пробасил:

— Ишь, какой! Молодец, пацан!

Прошло полчаса, отец, насытившись моими рассказами, встал с табуретки и пошел переодеваться. Вскоре он вновь появился на кухне, теперь уже в спортивном костюме, из-под куртки которого треугольником виднелась флотская тельняшка. Выпив чаю и покурив, он неожиданно повернулся ко мне и заговорщическим шепотом спросил:

— Саш, а поесть-то у нас что-нибудь найдется?

Я тут же вспомнил о бабушкиных пирогах, компоте, и незамедлительно предложил их ему.

— Пироги, это, конечно, хорошо, — хитро улыбнулся он, — но для таких серьезных мужиков, как мы с тобой, несолидно. Как считаешь?

Не зная, что ответить, я недоуменно повел плечами и вопросительно посмотрел на отца.

— Женщины-то наши, поди, не скоро вернутся. Давай, пока они там на гуся охотятся, сварганим настоящий украинский борщ! А, Сань?!

Я, зная, что отец — морской офицер, командующий не одной сотней матросов, удивленно поднял брови и недоуменно, даже чуть обиженно пробурчал:

— Готовить?! Да разве ж это мужское дело?

Отец дружески хлопнул меня по плечу, улыбнулся и вполне серьезно ответил:

— Знаешь, Сашка, по большому счету, нет на земле таких дел, которыми не имеет права заниматься настоящий мужик. А уж борща сварить завсегда уметь должен. Овощи есть какие?

— Шас гляну. Вроде есть, на балконе.

Пока я рылся в бабушкиных запасах, отец выискал в углу морозильника увесистую говяжью кость, обозвал ее мослом, и вскоре она горделиво выглядывала из пятилитровой кастрюли.

— Молодца! — довольно сказал он, увидев, как я затаскиваю пакет с овощами на кухню.

— Картошку чистить умеешь?

— Не знаю! Не пробовал! — испуганно ответил я.

— Ну, вот, сейчас и узнаем, какой из тебя моряк. Главное, запомни, кожа должна быть толщиной в газетный лист.

Я поставил перед собой помойное ведро, эмалированную миску с водой, взял самый острый нож и принялся за дело.

«Эх, чтоб ее... Знает ведь, о чем говорит!» — сокрушался я, едва справляясь с очередной «синеглазкой».

Кожа, несмотря на все ухищрения, получалась миллиметра три толщиной. Отец изредка поглядывал на мои «успехи», а сам, тем временем, ловко резал репчатый лук. А выходил он из-под его ножа маленький, ровными, впечатляющими конвейерной одинаковостью квадратиками. Удивляло и то, что я, сидевший в двух метрах от отца, просто-таки истекал луковыми слезами, а он, непосредственный резчик, спокойно, бесслезно кромсал ядовитый овощ.

— Штук пять есть? — спросил он, высыпая нарезанный лук в бульон.

— Ага!

— Еще две и баста!

Сколько раз я ел бабушкины супы и борщи, совершенно не задумываясь над тем, что всему этому предшествует. Настоящим откровением стал для меня процесс тушения тертой свеклы и моркови. Изодранные до крови пальцы, содранные ногти вызвали во мне тогда и сохранили до сих пор непоколебимое уважение к женскому труду. Испробовав на самом себе все тонкости и премудрости приготовления борща, я никогда больше не оставлял порцию чего-либо недоеденной.

Нужно было видеть, как округлились мои глаза, случайно застав момент превращения бесцветного говяжьего бульона в бордовую, с оранжево-золотистыми вкраплениями жидкость, впоследствии называемую борщом. Вот так химическая реакция! Вот так дела!

— Пусть свекла проварится, как следует. Потом картошку закинем...

— А капусту? — проявил нетерпение я.

— Ее в самом конце...

Шинковал капусту отец сам. Процесс точь-в-точь напоминал ранее описанную резку лука. Бабушка, которую до сего дня я считал лучшим поваром в мире, теперь сдала позиции. Капуста получалась одинаковой длины, а ее толщина не превышала двух миллиметров. Это выглядело очевидным, но невероятным. Где и при каких обстоятельствах получил поварские навыки мой отец, я не знал. Для меня, прежде всего, он оставался морским офицером.

Наконец борщ был готов. Отец снял кастрюлю с плиты, поставил на алюминиевую подставку, достал из кухонного шкафа глубокие тарелки, половник и...

— Сашка! А хлеба-то у нас нет! — развел руками он, заглядывая в пустую хлебницу.

И действительно, хлеба ни крошки. Мама и бабушка как раз и пошли на рынок купить недостающее к предстоящему празднику.

— Вот тебе рубль! — быстро нашелся отец. — Будь другом, сгоняй, возьми булку белого и половинку черного. Ну, и мороженого.

Я без промедления обул сандалии, накинул ветровку и что есть мочи помчался исполнять отцовское поручение. Эх, как же я радовался всем этим поручениям. И было почти неважно, какие они, главное, что исходили от отца.

По дороге в булочную встретил соседа по этажу дядю Витю — в прошлом тоже моряка, мичмана.

— Что, отец надолго приехал? — не выпуская изо рта загубник красно-коричневой бриаровой трубки, спросил он.

— Надолго! — ответил я и помчался дальше. — Потом расскажу... спешу я...

Дядя Витя кивнул и, кажется, сказал еще что-то. Это «что-то» я расшифровал много позже, став взрослее...

Мальчишки во дворе откуда-то прознали о приезде моего отца и с нескрываемой завистью смотрели вслед. У многих из них родители также были связаны с морем. Кто рыбачил на дрифтерах, кто работал спасателем, кто простым моряком. Но мой отец служил морским офицером, а это куда значительнее.

Продавщица тетя Вера, как оказалось, тоже знала о приезде.

— Маме скажи, забегу вечером. «Птичье молоко» завезли, отложила вам. Папку, смотри, с дороги не мучай...

— Хорошо тетя Вер, не буду... — засмеялся я и с удвоенной силой побежал обратно.

Дверь не была на защелке (стоило ли ее закрывать, если знаешь, что вернешься через три минуты), поэтому я вошел в квартиру без звонка и ключа. Отец сидел за кухонным столом, положив голову на скрещенные руки. Казалось, что пока я бегал, он просто заснул.

— Пап, нам тетя Вера торт отложила, «Птичье молоко», — нарочито громко сказал я, надеясь разбудить отца. — И хлеба купил. А мороженого мне нельзя пока, болел недавно.

Отец не отзывался. Я зашел на кухню и легонько похлопал его по плечу. Отец молчал. Пришлось толкнуть сильнее, и в эту же секунду он рухнул всем телом на пол. В испуге я отпрянул назад, стараясь не смотреть, но потом заставил себя повернуть голову в сторону распластанного отца. Серые стеклянные глаза его были широко открыты и смотрели в никуда. Я опустился на колени и принялся что есть силы трясти его за плечи. Он по-прежнему не отзывался, продолжая так же страшно смотреть. Мной овладела истерика, я снова попытался его расшевелить, бил по щекам и кричал:

— Папка, вставай! Что ж это такое! Я тебя так ждал! А ты! Несправедливо...

Сколько это продолжалось, не помню. Чьи-то незнакомые руки оттащили меня, оставив в моей ладони бегунок от «молнии» отцовского спортивного костюма. Помню, кто-то дал мне таблетку и я уснул.

Похоронили отца, как и положено, на третий день. Бабушка не присутствовала на похоронах, ее еще в день смерти увезли с сердечным приступом в больницу. Мама до и после похорон все время лежала на кровати, отвернувшись к стене. Спала и плакала во сне, изредка поднимаясь покормить меня. Только сейчас понимаю, насколько она была молода, совсем девочка. Наливала в тарелку наш с отцом борщ и снова ложилась.

Я сидел по часу над ним, помешивал, рассматривая тот самый лук. Слезы нарастающей обидой подступали к горлу, не давая думать о еде, все капали и капали в борщ. В конце концов я отставлял тарелку в сторону и шел к себе в комнату.

Как рассказал мне спустя годы дядя Витя, отец попал под первую волну сокращения, что, видимо, и явилось одной из причин его скоропостижной смерти...

Сёмушка тем временем укатил настолько далеко, что, не на шутку испугавшись, остановился и заплаканными глазами выискивал меня среди прохожих.

Я заторопился к нему.

— Ну, что ж ты от папки так далеко уехал? — упрекнул его я.

— Пап, а у тебя шарф теплый? — рукавом утирая слезы, спросил Сё-мушка.

— Какой шарф? Сейчас же лето.

— Который мама связала. Синий.

— Конечно, теплый. А что?

— Значит, не заболеешь! — улыбнулся Сёмушка и поехал дальше...

Чиквантино

Валька Белозёров подрастал медленно. В мальчишечьей шеренге на уроке физкультуры два года подряд стоял двенадцатым, из пятнадцати-то ребят. Отжимался четыре раза, подтягивался полтора. Панически боялся прыгать через «козла», а если набирался храбрости, безнадёжно застревал на нём, окаянном, вызывая у одноклассников бурный гомерический хохот. О параллельных брусьях и речи не шло. Запретная тема. Когда предстоял урок с их применением, Валька день напролёт плакался матери, что, мол, отвратно себя чувствует и в школу не пойдет. Мать не сразу, но соглашалась.

Бегал Валька медленно, по-девичьи выкидывая ноги в стороны и за глаза значился обгоняемым учащимися обоих полов.

Учебную гранату метал метров на семь, причем зачастую она летела не вперед, а куда-то в сторону и попадала либо в одного из одноклассников, либо в вечно недовольного физрука.

С успеваемостью по остальным предметам так же было неважнецки. В основном — тройки, а по точным наукам, так и вовсе — двойки. Последние, с превеликим трудом в конце каждой четверти Валька исправлял неимоверным усилием воли, и напряжению, как говорила математичка, скудных умственных способностей. Непреодолимым препятствием стала геометрия. Бывало, за чашкой вечернего чая он вступал в полемику то с отцом, то с матерью, пытаясь досконально выяснить, зачем и при каких обстоятельствах ему понадобятся косинус, синус и тангенс, а самое главное, какую пользу углублённое изучение этих формул ему принесёт в будущем.

Отдохновением от изнурительного школьного процесса была улица. Там Валька чувствовал себя более менее сносно: гонял на велосипеде, невзирая на телесную слабость играл в футбол и хоккей, катал к стене лобаны — подшипники, а вечерами ловил на нитку ворон и голубей. Но, по правде говоря, и во дворе сталкивался с непониманием. Особенно это касалось мальчишек чуть старше. Наверное, в силу неуёмного кипящего энтузиазма, который старшеклассникам виделся напускным и чрезмерным. Вальке же шёл тринадцатый год.

Затеи Вальки всегда выглядели странными, неподдающимися пониманию адекватного сверстника. Так, было время, когда он загорелся «археологическими раскопками». Во дворе дома, в первом приглянувшемся месте, копал вглубь и вширь. Все что находил: проржавевшие гвозди, подковы, гильзы, военного времени штыки, черепки глиняной посуды — бережно укладывал в хозяйственную сумку, нес домой, где за ужином предавался всяческим мечтаниям — хотел собрать побольше экспонатов и организовать музей.

Или же подбивал окрестных мальчишек на поиски золота, которое по стойкому убеждению Вальки непременно должно было сохраниться в челюстях покойников...

Поиски проходили на старинном, уничтожаемом городскими властями Чугунском кладбище. Не находили, конечно, но ажиотажа при этом было через край.

Завершилось золотоискательство плачевно. Перекуривавший невдалеке от места глумления бульдозерист увидел, как друг Вальки, пыхтя и краснея, тащит из глубин почвы пожелтевшую от времени человеческую берцовую кость. Не дожидаясь конца раскопок, мужчина спешно вызвал милицию.

Несомненно величайшим даром Вальки был дар убеждения. Самую утопическую затею он преподносил так, что в конце концов вокруг него собиралась свора мальчишек, которые, раззявив рты, с упоением внимали жестикулирующему, брызжущему слюной затейнику, а через некоторое время, словно заколдованные, беспрекословно выполняли все его безумные распоряжения.

Родители Вальки знали о странностях сына, но относили их к издержкам подросткового возраста, считая, что уж лучше пусть копается в земле, чем учится пить и курить в подворотнях.

К сожалению или к счастью почти все инициативы Вальки заканчивались плохо. К примеру, та самая заморочка с музеем...

Собрав достаточное количество «экспонатов», Валька в одном из дворов старого города сыскал заброшенный подвал с не запираемой дверью, и с друзьями-соратниками принялся изо дня в день методично расчищать его от мусора и песка.

Задумывалось так: после расчистки провести внутрь электричество, поклеить темно-бордовые обои (такие Валька видел в городском краеведческом музее), подключить проигрыватель, а лучше патефон, поместить экспонаты в деревянные ящички под стекло, и под старинную музыку пускать всех желающих, благоразумно взимая с каждого по двадцать копеек.

Наверное, так бы все и случилось, если бы однажды, когда уставшая от труда праведного команда выбиралась наружу, из окна дома напротив их не застучала одна, видимо, очень вредная, старуха-предательница. Заметив ее, устрашающе скалящуюся и грозящую костлявым указательным пальцем, «музейщики» не на шутку испугались, но вместо того, чтобы вылезти и разбежаться по домам, зачем-то остались в подвале, где крепко взявшись за руки, принялись ждать расправы. Через минут двадцать откуда-то сверху их позвал уверенный, но доброжелательный мужской голос. Мол, выходите ребята, вам нечего бояться. И они, наивно поверив уверениям взрослого, недолго думая, вылезли. Мужчина оказался отцом одного из засевших в подвале ребят. В руках у него находился полторасантиметровой толщины кабель, сложенный вдвое. Рядом с ним стояли еще взрослые и несколько мальчишек, которых Вальке так не удалось завербовать археологами. Они злорадно ухмылялись, злобно поплевывали сквозь зубы, но все ж таки, несмотря на предстоящую экзекуцию, тайно завидовали. Валька это чувствовал.

Каждому из «музейщиков» досталось по три мощнейших удара по пятой точке. Получив причитающееся, каждый из провинившихся резко срывался с места и несся прочь со скоростью бегуна-спринтера, претендующего на призовое место. Когда очередь дошла до Вальки, мужчина пренебрежительно посмотрел на него, недовольно поморщился и покачав головой, произвел всего лишь один удар, видимо побоявшись повредить и без того нескладного и крайне субтильного ребенка. Удар оказался сильным и запоминающимся. Бежал Валька под его волшебным воздействием до самого своего двора без единой остановки, с неведомой до селе скоростью. Уже дома, за тарелкой наваристого материнского борща, Валька твердо решил: больше ни в коем случае не заниматься археологией.

Апатия одолела после случившегося Вальку Белозерова. Настолько грустным, если не мрачным сделался он спустя несколько дней. Родители забеспокоились. А как же?! Есть стал плохо, на улицу почти не выходил, телевизор не включал. Отец, видя упадническое состояние сына, закинул было удочку на покупку нового велосипеда, но Валька на это лишь вздыхал как-то не по-детски и еще более не по-детски махал рукой. К чему бы это всё привело — лучше не фантазировать, потому как, слава богу, не привело.

И вот почему.

В канун Валькиного дня рождения, к которому упомянутый велосипед все ж таки купили, и с утра пораньше отец с напускным энтузиазмом накачивал шины, в дверь Белозеровых пронзительно позвонили.

— Кого еще принесло?! — посетовала мать Вальки, снимая с плиты кастрюлю с бульоном.

Валька нехотя подошел к двери и повернул ключ.

На пороге стояло нечто!

В огромном соломенном сомбреро, с гитарой за спиной, покручивая иссиня-черный ус и хитро улыбаясь, возвышался родной Валькин дядя — Ибрагим! Разумеется, Валька знал

о его существовании. Знал так же, что дядя Ибрагим — артист: то ли певец, то ли трубач, но главное, что в силу своей профессии постоянно колесит по миру и иногда, как видимо и сегодня, заезжает с подарками к ним — унылым и бесталанным родственникам.

Надо сказать, что помимо сомбреро и гитары, дядя Ибрагим привез с собой два пухлых чемодана. Чего там только не оказалось!

Матери (родной сестре дяди): платье-сафари, модный купальник с белыми парусниками на фоне морской глади и дамскую сумочку из крокодильей кожи. Отцу: джинсы клёш, бейсболку с долларovým знаком, ремень (так же из крокодильей кожи) и бутылку темного кубинского рома. Вальке такое же, только размером меньше сомбреро, пневматическую винтовку, три блока жвачек и деревянную фигуру индейского вождя. Ко всему в придачу в чемодане оказалось множество всяческих мелочей, подаренных дяде Ибрагиму на гастролях, назначения которых сам он толком не знал.

Прошел час, и родители в большой комнате во главе с гостем сидели за разобраным во всю ширь обеденным столом — ели, пили, пели, разговаривали. Дядя Ибрагим, как оказалось, знал множество песен на иностранных языках и после каждой выпитой рюмки что-нибудь исполнял. Например это:

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez...

Или:

Nathalie, en la distancia
Tu recuerdo vive en mi...

Особенно пение неожиданного гостя нравилось Валькиной маме. После того как дядя Ибрагим на какой-нибудь невероятно высокой ноте заканчивал песню, она громко хлопала в ладоши и с укором смотрела на Валькиного папу, как бы сетуя, что тот так не может. Валькин папа замечал укор, склонял голову, долго обиженно вздыхал, подливал в рюмку рома и обреченно ждал, когда настанет очередь следующей песни...

Наступил новый день, и взрослые уже общались с друг другом на кухне, в менее торжественной обстановке. Валька же остался наедине с привезенными из далеких стран подарками в своей комнате. Чего теперь только у него не было... Но изобилие всевозможных игрушек почему-то не радовало Вальку. Ему вдруг показалось, что теперь все эти разноцветные безделушки остались где-то во вчера. Хотелось чего-то серьезного, значимого, настоящего. И Валька опять сник. Долго вертел в руке фигурку деревянного индейца. Еще пару недель назад, если бы такой у него оказался, Валька бы день напролет прыгал до потолка, а сейчас? Индеец, как индеец! Ну и что? Неинтересно, а главное — бессмысленно как-то... При взгляде на кучу подарков накатывало на Вальку теперь уже раздражение. Он поднялся с кровати, вытянул из угла на середину комнаты пустовавший до последних дней большой картонный ящик для игрушек, сгреб обеими руками все неожиданно свалившееся на него добро и в три захода определил его в емкость.

Еще большая волна скуки накатила на Вальку. Что делать, чем заниматься в долгие, недавно наступившие летние каникулы? Он еще немного посидел на диване, уныло поглядывая на коробку с добром, затем не выдержал, резко встал, взял короб обеими руками и со всего размаха бросил обратно в угол комнаты. Коробка недовольно покачнулась и тоже, словно в ответном раздражении, выплюнула из себя небольшой бумажный пакетик, чем-то похожий на пакетики порошка от кашля, которыми мать Вальки лечила всех хворых домочадцев.

Валька поднял его, недоверчиво повертел в руке и от скуки пошел на кухню спросить у взрослых что это такое.

Взрослым было не до того, они весело отмахнулись от Валькиного вопроса и продолжили вести свои серьезные разговоры. И только когда Валька почти ушел с кухни, дядя Ибрагим небрежно бросил вслед:

— Это мне в Мехико на сельскохозяйственной выставке всучили зачем-то. Семена, наверное. Кукуруза или еще что, не помню...

Читать длинные произведения Валька не очень любил и открывал книжки лишь в том случае, если что-то задавали по школьной программе. Зато был крайне неравнодушен ко всякого рода словарям и энциклопедиям, где все коротко и по делу, и которых в домашней библиотеке отца находилось предостаточно. Достав с одной из полок толстенный «Словарь сельскохозяйственных культур», Валька начал искать то замысловатое название, написанное на пакетике. Но такого слова в словаре не значилось. Валька открыл другой словарь, третий, но все тщетно.

Через некоторое время Валька уже понял, что за слово на пакетике, и даже смог его произнести, но ни в одном словаре слова такого не находилось. Валька почти отчаялся и вознамерился прекратить поиски, как вдруг в одной из энциклопедий по растениеводству, в примечании наткнулся на знакомую надпись. Дядя Ибрагим был прав, это оказалась кукуруза, то есть ее семена. Чиквантино — сорт, отличающийся скорым ростом и большой урожайностью.

— Вот так дела, — воскликнул Валька, — надо же, из самой Мексики, где вечная жара, индейцы и огромные кактусы! Вот здорово! Быстрорастущий сорт с высокой урожайностью... Класс!

Будильник разбудил Вальку в пять утра. Вооружившись металлическим совком и лейкой, новоиспеченный садовод Валька Белозеров вышел во двор. Во дворе, как и предполагалось, никого не было, лишь большой серый кот смотрел на него из окна квартиры первого этажа. Смотрел недоверчиво, сердито, но с явным уважением.

Семян в пакетике было много, но все Валька тратить не хотел. Мало ли, вдруг не взойдут. Может, думал Валька, их размачивать нужно перед тем как посадить (так в школе на уроках ботаники когда-то учили).

Валька вырыл в земле с десятков неглубоких лунок, положил в каждую по два зернышка, присыпал землей и обильно полил водой. Дело было сделано, оставалось ждать.

Зачем все это нужно, Валька не понимал, но внутри себя чувствовал, что есть в сием делании что-то правильное, настоящие, взрослое. И странным выходило то, что после того, как он зарыл семена в землю, жизнь его детская вновь показалась интересной, наполненной. И новый велосипед вдруг понадобился, и винтовка пневматическая. И индеец обрел прежнюю ценность и даже жвачки, привезенные дядей Ибрагимом издалека, жевались радостно и с удовольствием.

Жизнь потекла как и прежде. Валька катался на велосипеде, играл в футбол, помогал родителям по хозяйству, вот только голубей и ворон перестал ловить на нитку.

Время от времени, в основном под вечер, Валька осторожно подбирался к месту посадки в надежде увидеть первые ростки. Так хотелось ему обнаружить хоть какой-то, пусть маломальский результат. Но пробежала неделя, другая, а ростки не показывались. Валька забеспокоился, стал спрашивать родителей, старших друзей и сверстников о том, как скоро должны взойти посева, но путных объяснений не получал.

В конце концов, Валька не выдержал и раскопал посаженные семена. На поверку оказалось, что с ними ничего не произошло. Почти все они выглядели точно такими же сухими и безжизненными как и в день посадки. Валька отчаялся и даже чуть было не заплакал от увиденного, как вдруг среди вырытых семян заметил одно, едва проросшее, с небольшим зеленым

закругленным росточком. Валька в миг приободрился, вырыл новую лунку и бережно положил туда проросшее зернышко.

— Не время значит еще! — утешил он сам себя, уходя с места. — Не время... и поливать надо чаще... точно, чаще...

Прошла неделя, на поверхности земли появился небольшой бледно-зеленый росток — сантиметра два в высоту. Настроение Вальки резко поднялось, словно эйфория накрыла его. Ни с того ни сего захотелось школьные дела привести в порядок. Понять, наконец, что означают и зачем нужны все эти косинусы и синусы... Прочитать до конца хоть какую-нибудь книгу... Взять в оборот параллельные брусья, да и с «козлом» наконец разобраться.

Родители заметили перемену и лишь в радостном недоумении разводили руками. Даже отец однажды не выдержал и спросил:

— Валька, может объяснишь, что с тобой?

Валька лишь деловито махнул рукой и, взяв подмышку учебник по геометрии, ушел в свою комнату.

Через месяц, когда небольшой росток постепенно превратился во вполне серьезное растение, Валька не выдержал и поведал всем о своём эксперименте: дворовой ребятне, родителям и даже физруку. Вальку резко зауважали, а позже, поначалу за глаза, а потом в открытую стали называть Чиквантино.

— Чиквантино-то наш со школы вернулся, пусть за стол садиться, борща похлебают! — говорила мать, встречая сына.

— Таааак, Чиквантино, марш к перекладине, а потом «козла» седлать! — призывно басил физрук.

— Чиквантiiiиино, помощь нужна?! — кричала ребятня, завидев, как Валька несет полное ведро воды для полива...

— Привет, Чиквантино! — здоровалась с Валькой самая красивая девочка в классе.

Еще через полмесяца на более чем метровой кукурузе завязались початки и с каждым днем становились все полнее и полнее. Втайне Валька сильно печалился, что проросло только одно растение, и сильно опасался того, что по каким-нибудь не предвиденным обстоятельствам оно может погибнуть.

Так вскоре и вышло.

В доме, где проживала Валька, находилось несколько квартир, где располагались семьи, члены которых работали в известном в городе фольклорном ансамбле «Березка». Коллектив колесил с гастроями не только по СССР, но и часто совершал поездки за границу. Валька занимался и увлекался много чем, в том числе — коллекционировал иностранные монеты. В прошедшем месяце «Березка» побывала в Италии и один из друзей Вальки — Владик, сын баяниста-аккомпаниатора ансамбля, пообещал подарить несколько итальянских монет. Валька мечтал об этом. За два года коллекционирования у него постепенно собрались монеты со всей Европы. Не хватало только итальянских лир и греческих драхм. Поэтому Валька как заколдованный ждал подарка с самого утра. Но Владик не объявлялся.

К концу дня Валька Белозеров решительно посчитал, что его бессовестно обманули. В итоге он не выдержал, накинул ветровку и вышел на улицу, надеясь встретить обманщика и спросить про обещанное. Владик действительно оказался во дворе и как ни в чем не бывало стоял прямо рядом с посаженной и уже почти выросшей кукурузой.

— Ну! — начал с напором Валька, — где монеты? Весь день дома просидел. Тебя ждал.

— У меня не осталось, — промямлил Владик, опуская глаза, — все раздал.

— Зачем тогда обещал?!

Владик замялся и от волнения протянул руку к растущей рядом кукурузе. Его пальцы стали мять самую верхушку растения, где располагались семена. Валька напрягся, но пока еще молча смотрел на разволновавшегося обманщика.

Неожиданно Владик оставил в покое пучок семян и со всей силы дернул большой, торчавший из ствола кукурузы лист, затем зачем-то нервно смял его и бросил под ноги.

— Ты что делаешь!? — не выдержал Валька. — Ты ее растил?

— Кого? — не понял Владик, оглядываясь по сторонам.

— Кукурузу! Чиквантино, называется. Ты ее только что испортил своими погаными руками.

— Я не знал, — пытался оправдываться Владик, оглядываясь по сторонам, — я думал это просто...

— Думал он, — еле сдерживал слезы Валька, — мало что врун, так еще и все испортил...

— Да ладно тебе, на рынке они дешево продаются, пусть тебя мать купит... Эта-то все равно не вырастет как надо...

Валька отыскал оторванный лист, спрятал в карман, и, презрительно поглядев на Владика, сказал:

— Только попробуй еще тронуть...

На следующее утро Валька нашел кукурузу сломанной и вырванной из земли. Было такое чувство, что ее кто-то специально, назло ему испортил. Тут же объявился Владик и со слезами на глазах принялся оправдываться:

— Это не я, Валька, правда, не я... Я знаю, кто это.

— Кто? — насупившись, исподлобья спросил Валька.

— Не наши. Мальчишки с Чижовки. Они вчера здесь были. Я им, дурак, не выдержал, проболтался про твою Чиквантину. Они рассмеялись. Потом ушли. Наверное, перед уходом решили поглумиться. Это не я, Валька, ты веришь мне? Вот, смотри, я монеты принес, остались все-таки. Держи.

Владик разжал ладонь. На ней поблескивало несколько итальянских лир.

— Верю! — улыбнулся Валька сквозь набежавшие слезы и дружески похлопал Владика по плечу, — зачем рассказал-то? Нашел кому...

— Прости, я не хотел, — запричитал Владик, как будто кукурузу он растил, а не Валька, — что ж теперь делать-то?

— Ничего, новую посадим, — как-то непривычно для себя самого, серьезно, по-взрослому, ответил Валька.

Что-то перевернулось в нем в эту минуту... Детские игры, шалости, нелепые затеи в один миг оказались далеко позади. Будто выросла неожиданно перед Валькой Белозеровым высокая стена, заградив и отделив своей бетонной толщиной прошлое. И дело, конечно, ни в погибшей Чиквантине, ни в хулиганах с Чижовки, и даже ни в плачущем повинившемся Владике... А скорее в том, что детство, таким вот странным образом, смешным приключением, прощалось с ним. И делало это, как водится, по-старинке...

Смерть одинокого человека

Когда я спросил у бабы Тони, самой старой обитательницы нашей коммуналки, о новом жильце, которого никто из нас, кроме нее, еще и в глаза не видел, она заворчала и даже толкнула дверь его пустующей комнаты ногой:

— Этот, что ли? Милиционер?

— А он разве милиционер? — не очень доверяя бабе Тоне, насторожился я. Только милиционеров нам и не хватало.

— Говорят, милиционер, — еще больше рассердилась баба Тоня (она всегда и на всех за что-нибудь да сердилась и негодовала по любому поводу). — Но настоящий или бывший — пока неизвестно.

— А почему не переезжает?

— Да бог его знает...

— Пьют?

— В этом доме все пьют, — отрезала баба Тоня, причисляя и меня к злостным пьяницам.

Пришлось мне согласиться с этим почетным званием: спорить с бабой Тоней совершенно бесполезно — последнее слово всегда остается за ней.

Появился новый жилец месяца через полтора. Он перевез в одиннадцатиметровую свою комнату стол, пару стульев, да несколько узлов с бельем и кое-какими вещами. Мы стали потихоньку приглядываться к нему и привыкать. Это был коренастый мужчина средних лет, с редкой козлиной порослью на подбородке. К тому же еще и изрядно полысевший. Куцая эта борода вклинчивала мне некоторое сомнение по поводу его принадлежности к милиции. Мент с бородой в мои обширные представления о сотрудниках МВД явно не вписывался.

Вскоре, правда, это наивное мое предубеждение рассеялось. Новому жильцу целыми пачками приходили служебные письма и бандероли с уведомлением, о чем нам немедленно доложила баба Тоня. Фамилию жильца я теперь уже забыл (кажется, она была украинской и заканчивалась на «о»), а вот имя помню. Звали его Сашей. В милицию Саша, скорее всего, пошел в молодые годы лишь затем, чтоб перебраться из какого-нибудь украинского городка, а то и деревни в столицу. Подобных ментов в Москве хоть отбавляй.

У Саши оказалось множество всякого рода увлечений и пристрастий. Возле его комнаты лежали футбольные мячи, теннисные ракетки, гири и гиришки, самодельная штанга, банная шапка, березовый веник, рыбацкий ящичек-сиденье, охотничьи грязно-зеленого цвета сапоги с высоченными голенищами, плащ-палатка и многое другое. Баба Тоня, глядя на Сашино богатство, которое мешало ей бродить по коридору, опять ворчала и грозилась все выбросить: «Разложился тут...»

А у меня на этот счет было иное мнение. Во-первых, натываясь на кухне на приходившие Саше письма и невольно прочитывая обратные адреса, я видел, что у него есть не только сослуживцы (или бывшие сослуживцы из милиционеров), но и просто хорошие, похоже, боевые друзья-товарищи. Они не забывают его, ценят за это боевое прошлое, о подробностях которого я мог только догадываться. А во-вторых, думалось мне, при нормальном жизненном раскладе: наличии семьи и более-менее сносной отдельной квартиры — Саша обязательно стал бы прекрасным мужем и заботливым отцом. Но расспрашивать его о прошлой жизни я не решался, да и зачем она мне нужна. Я был тогда еще безнадежно молод и, по правде говоря, меня не очень то и интересовала чья-либо чужая жизнь. Все люди, перешагнувшие сорокалетний рубеж, казались мне неудачниками и аутсайдерами. Было в них, по моим юношеским представлениям, что-то от холотропно дышащей, только что пойманной рыбы. Менты же вообще будили в моем сознании одни лишь негативные эмоции. Я считал, что душевная чистота, честность, сострадание к ближнему в них напрочь отсутствуют. Более того, я был совершенно согласен с циничной

современной поговоркой: «Хороший мент — мертвый мент!» К Саше я относился примерно так же, хотя мне он ничего плохого и не сделал...

Обретался в нашей коммуналке еще один сосед, Пантелей Романович, тучный старик лет семидесяти, действительно любящий хорошо выпить и еще лучше закусить (часто за наш с бабой Тоней счет, беззастенчиво заимствуя у нас котлеты, колбасу или любую иную еду, которая попадалась ему под руку). Для краткости и удобства общения мы называли его просто Пантелеем. Выпив рюмку-другую, Пантелей задевал каждого встречного-поперечного, любил побеседовать с ним на философско-житейские темы.

Сашу он, правда, в глаза предусмотрительно не трогал. Судя по всему, как все пьяницы, побаивался милицейского его звания. Но за глаза творил ему всякие мелкие пакости. То возьмет без разрешения гирю или футбольный мяч и после неделями не возвращает, то вдруг нарядится в Сашины болотные сапоги и плащ-палатку и в таком виде демонстративно разгуливает по двору, то, ерничая, называет Сашу в разговоре со мной и бабой Тоней «гражданином начальником».

Саша переносил мелкие эти пакости Пантелея спокойно, ни разу не вступил с ним в пререкания, чем, кажется, сильно разочаровал Пантелея. Вскоре Саша оформил пенсию и стал искать себе работу охранника или что-либо в подобном роде. Но у него вначале ничего не получалось: в одном учреждении-офисе ему говорили, что он не подходит по возрасту (это всего-то в сорок четыре года!), в другом отказывали из-за его боевого прошлого — дескать, все «афганцы» и «чеченцы» психи, и с ними лучше не связываться, третье место не устраивало самого Сашу — слишком маленькая зарплата, и ездить на службу надо через всю Москву. Любой иной отставник плюнул бы на все и припеваючи жил на военно-милицейскую свою пенсию. Но Саша был мужиком упрямым: он целыми днями оккупировал наш общий коммунальный телефон, и в конце концов у него все срослось. На работу Саша устроился, и, кажется, очень удачно. Баба Тоня, рьяно следившая за порядком в квартире, расходом моющих средств и туалетной бумаги, немедленно откликнулась на это:

— Пенсия у него в два раза больше моей, зарплата — двадцать пять тысяч (откуда только и узнала?!), а на туалетную бумагу три рубля жалко.

Пантелей тоже не преминул укорить Сашу своим излюбленным философско-содержательным замечанием:

— Гражданин начальник — ему все можно...

Я же предпочел отмолчаться. С Сашей мы почти не общались, поздороваемся утром на кухне — и все разговоры. Лишь однажды перед Новым годом Саша, будучи заметно навеселе, подошел ко мне во дворе дома и, хорошо зная мое увлечение игрой на гитаре, добродушно спросил:

— Ну, как она, жизнь молодая? Играешь?

— Нормально. Играю... — не проявляя особого интереса к его вопросу, ответил я и пошел по своим делам.

А Саша остался стоять возле подъезда. Моя холодность обидно задела его. Он, кажется, хотел выпить со мной и поговорить по душам «за жизнь», но я был в тот момент трезв, как стеклышко, и не расположен к подобным разговорам.

Так мы и жили в развеселой нашей коммуналке, вроде все вместе, под одной крышей, но в то же время — и каждый по отдельности. И вдруг я стал замечать, что по утрам из туалета доносятся громогласные хрипы и стоны, что там кого-то немилосердно тошнит, выворачивает все внутренности. Подобные вещи могли происходить либо с человеком, сильно страдающим от какой-нибудь желудочной болезни (застарелой язвы или гастрита), либо с большим любителем выпивки, который вчера слишком «перебрал» и теперь мучается жестоким похмельем. Я сам по молодости не раз «перебирал» все мыслимые и немыслимые нормы и хорошо знаю, что это такое.

Поначалу я подумал на Пантелея. Во-первых, он выпить не дурак, а, во-вторых, кто-то подсказал старику, что лечиться от избыточного веса можно очистительными клизмами. Пантелей со всем энтузиазмом и занялся этими процедурами, забрызгивая после них туалет таким ядовитым дезодорантом или жидкостью для травли тараканов, что переносить их зловоние было во сто крат труднее, чем любые иные туалетные запахи.

Но вскоре выяснилось, что Пантелей здесь ни при чем. По утрам в туалете болезненно, часто до потери сознания, тошнило Сашу. Это были первые звончки и колокольчики, которыми напоминала о себе какая-то давняя запущенная им болезнь...

* * *

Как Саша от нее лечился, я, к сожалению, не узнал. Вскоре я женился и переехал на квартиру к жене, а свою комнату сдал двум знакомым студентам. В коммуналке я появлялся теперь очень редко, лишь затем, чтоб узнать, все ли там в порядке, и не слишком ли студенты досаждают бабе Тоне и Пантелею.

Во время одной из таких «проверочных» поездок я возле подъезда нашего дома столкнулся с Сашей. Судя по всему, он возвращался с зимней подледной рыбалки (на плече у него висел походный рыбацкий ящичек). Шел Саша, тяжело дыша, покачиваясь, словно пьяный, из стороны в сторону. Похоже, колокольчики его звонили все сильней и сильней...

Мы с ним молча кивнули друг другу, но не остановились и не заговорили, оба прекрасно понимая, что говорить нам не о чем: я — молод и здоров, наслаждаюсь семейной медовой жизнью, а он — смертельно болен...

Несколько месяцев после этой случайной встречи с Сашей я опять не появлялся в коммуналке. А когда однажды заглянул, студенты рассказали мне, что Сашу навещает какая-то женщина из нашего же дома. Она ухаживает за ним, моет полы не только у Саши в комнате, но и во всей квартире, готовит ему обед. Но Саша почти ничего не ест, он сильно исхудал, козлиная его борода совсем поредела и заострилась, проплешина на голове превратилась в настоящую лысину, обнажив туго обтянутый посиневшей кожей череп. Но больше всего студентов удивляло то, что при таком предельном истощении у Саши вырос громадный живот. По прежней своей жизни (и армейской, и послеармейской, когда я скитался по Москве в поисках пристанища) я был немного знаком с медициной и догадался, какая болезнь мучает Сашу. Скорее всего, у него асцит, брюшная водянка, и спасения от нее нет...

Сашу в тот день дома я не застал. Студенты сказали, что он ушел то ли на любимую свою рыбалку, то ли просто погулять в сквере. Я твердо решил подождать его и поподробней расспросить о болезни (вдруг все-таки ошибаюсь), а может, чем-нибудь и помочь. Но тут мне по мобильнику позвонила жена, сказала, что мы вечером идем в театр, и надо поскорее возвращаться. Я попрощался со студентами и уехал, так и не встретившись с Сашей — огорчать жену мне не хотелось...

В своих догадках о Сашиной болезни я не ошибся. Через полгода он умер. Узнал я об этом случайно. Мои квартиранты, сдав весеннюю сессию, решили съехать с квартиры (то ли нашли себе жилье получше, то ли им пообещали дать общежитие). Они позвонили мне, чтоб сообщить об этом намерении, а заодно и рассказали о Сашиной смерти. Похороны и поминки организовала ухаживающая за ним женщина. Проститься с Сашей пришли многие его сослуживцы. Они вспоминали о совместных с Сашей командировках на Северный Кавказ, об участиях в боевых операциях и вообще о нелегкой ментовской службе, которая гражданским людям не всегда ясна и понятна. Саша был и остался для них хорошим, надежным товарищем. На него можно было положиться в любой обстановке. Жаль только, что они мало чего знали о последних месяцах Сашиной жизни и о его болезни (у каждого свои дела, свои заботы), а то непременно помогли бы и в беде не оставили. Военное братство — нерушимо.

Свою комнату Саша переписал на имя ухаживающей за ним женщины. Она, как могла, поддерживала его, никогда не выказывая уныния в предчувствии скорой смерти близкого человека. Забота ее о Саше вовсе не была связана с тем, что она рассчитывала получить его комнату. Просто эта чужая женщина была таким редким по нынешним временам человеком...

— Других родственников не нашлось, что ли?! — вскоре после похорон осуждала Сашу и по смерти баба Тоня.

Пантелей глубокомысленно поддакивал ей:

— Гражданин начальник — какие у него родственники!

И оба старжила на этот раз были совершенно правы: других родственников у Саши действительно не нашлось...

* * *

Со дня смерти Саши минул год, а то и больше. Казалось бы, мне можно было бы о нем и забыть. Но каждый раз, когда я приезжаю на старую свою квартиру, мне становится непередаваемо больно и пусто на душе... Холодок случившейся в ней смерти еще играет вечно открытой форточкой нашей коммунальной кухни. Иногда я пытаюсь успокаивать себя: ну, кто мне этот Саша и что мне до него?! Но пустота и боль не отпускают меня. Все люди вместе и каждый из нас в отдельности принадлежат не только самим себе. Наша полная перипетий жизнь — есть крохотная частичка чьих-то других, чужих жизней, а их жизни — частицами нашей... Видит Бог — это так! Все мы в одной лодке. Будем же внимательны друг к другу...

Авдотья Львовна

Авдотья Львовна просыпается рано. Даже дворники не в силах с ней соперничать. Умывшись, ловко прилаживает акриловые протезы к оставшимся четырем молярам и, выждав, когда электрочайник, победно шелкнув, успокоится, заваривает цикорий с ромашкой. Пока напиток зреет, кладет полусантиметровой толщины кусок масла на ломоть маковой сдобы и, присев на край подоконника, ждет, когда из надтреснутого динамика грянет гимн. Первые аккорды заставляют ее чуть нахмуриться, сосредоточиться. К припеву же лицо светлеет, морщины волшебным образом разглаживаются, а глаза наполняются таким светом и несвойственным пожилому возрасту блеском, что восходящее солнце кажется жалкой пародией на себя. Такое превращение происходит с ней ежеутренне в течение последних десяти лет. Именно столько она не обременена работой, заслуженно вкушая прелести пенсионного положения.

Муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика. Вздрагивает, матерится, беспрестанно ворочается и, кажется, даже во сне не находит себе места. Их режимы катастрофически не совпадают, как, впрочем, и взгляды на жизнь. Объединяет, пожалуй, одно — смирение.

В квартире живет еще несколько существ, одно из которых — Кеша, волнистый сиреневый попугай мужского пола. Он подает признаки жизни ровно к тому моменту, когда завтрак Авдотьи Львовны начинает интенсивно всасываться в стенки желудка.

— Кеша птичка! Сашка дурак! — по-человечьи, с хрипотцой выдает он. — Кис-кис!

Авдотья Львовна одаривает пернатого удовлетворенной улыбкой и, щедро наполняя кормушку пшеном, терпеливо отвечает:

— Да уж, Сашка у нас дурачок! А Кеша — птичка! Давай звать Маню! Кис-кис!

Прибегает Маня. Маня — рыжий кастрированный кот, половую принадлежность которого определили не сразу. Отсюда и имя. Маня достался Авдотье Львовне от уехавших за границу соседей. Сухой магазинный корм Маня не признает. С большим уважением относится к отварной селезенке и печени. Оттого, брезгливо обнюхав вчерашний «Вискас», трется жирными боками об ноги хозяйки.

— Тогда терпи.

Приняв к сведению, Маня уходит, нервно подергивая хвостом и кончиками ушей. Через минуту на кухню метеором влетает кот Василий. Серая шерсть дыбом, хвост пистолетом. Неприхотливый во всем, довольный жизнью как таковой и, соответственно, «Вискасом». (Его темное прошлое и плебейское происхождение не позволяют качать права.) И хотя у Василия есть заветная гастрономическая мечта, имя которой Кеша, он в очередной раз смиряется с ее призрачностью и потому жадно, по-мужски уминает оставшийся со вчерашнего вечера корм.

— Вот это по-нашему! Умница! — не нарадуется Авдотья Львовна, ставя на плиту кастрюльку с водой.

— Умница! — повторяет Кеша. — Кеша птичка. Сашка дурак.

Минут через пятнадцать запах поспевающей селезенки заставляет Маню вновь прибегать на кухню. Василий также не прочь вкусить натурального продукта, но, осознавая свою неисключительность, облизнувшись, убегает восвояси.

Часам к девяти «дети» (так свою живность называет Авдотья Львовна) накормлены, а значит, можно спокойно выйти на улицу и утолить жажду общения с себе подобными.

Мария Арнольдовна — лучшая подруга Авдотьи Львовны. Их дружба зиждется на неприязни мужей-алкоголиков и любви к животным. Встречаются у выхода из подъезда. Улыбаются, вздыхают, сетуют.

— Со своими управилась? — выказывает особое понимание Мария Арнольдовна, поправляя черный, как строительная смола, парик.

— Да, Маш, накормила, напоила! Как без этого? Они ж как дети мне!

— А мой Рексик приболел маненько. Вчера в ветпункт снесла. Говорят, диспепсия.

Авдотья Львовна понимающе качает головой, разводит руками, жалеет Марию Арнольдовну и Рексика.

— Даст бог, все наладится. Смекты наведи ему.

— Дочь не заходит? — неожиданно спрашивает Мария Арнольдовна, опустив подведенные синей тушью веки.

— Дочь?! — брезгливо выдавливает Авдотья Львовна. — Нет у меня, Маш, никакой дочери. Знать ее не хочу.

Солидарно вздыхают. Минуту спустя Авдотья Львовна распаляется:

— Это ж надо. Выйти замуж за... — как его?.. — стриптизера! Стыд-то какой! Тьфу! Эльдааар! — Разводит руками и приседает на широко расставленных ногах. — Имя одно чего стоит. И ребятенка назвали не пойми как! Не то Арнольд, не то Оскольд.

— Арнольд Эльдарович! Мда, намудрили.

— Вот и я о том же! Не хочу их знать. И все тут. Пусть сами разбираются со своей жизнью. Посмотрим, что у них получится.

— Ясно дело — ничего! Понаиграются, да разбегутся!

— Во-во, да ребятенку жизнь покалечат! Ироды!

— Ладно, бог с ними, пойдем гулей кормить.

Пока Авдотья Львовна с Марией Арнольдовной кормят окрестных голубей хлебными крошками, Александра Сергеевича уже полчаса упорно будят телефонные звонки.

— Ну что за беспредел, твою мать! — натягивает на голову одеяло Александр Сергеевич. — Кому там неймется?

Но телефон не перестает звонить, вселяя болезненное раздражение в потенциального абонента.

— Дааа!!! Кого надо?! — злобно рычит в трубку Александр Сергеевич. Но тут же смягчается: — Доча, ты? Прости старика. Спал я. Мать где? Ушла своих кормить. Как ты? Как Арнольдик? Не болеет? Ну и слава богу. Я? Да нормально. Вроде не болит ничего, так, иногда радик прихватит. Что? Финалгон?! Да ну..! Водкой разотру, проходит. Нее, боже упаси, ни капли! Так, по праздничкам. Да что рассказывать? Ты же знаешь. Ее не перевоспитаешь. Горбатого могила исправит. Такие вот дела. В гости не зову, сама понимаешь. Ну, да ладно. Звони. Целую всех вас. Эльдару привет от меня. Все...

После разговора еще долго сидит на кровати, обхватив взъерошенную вспотевшую голову ладонями. Что-то невнятное бормочет под нос, но подступившая к горлу тошнота вынуждает замолчать, с трудом подняться и дойти до уборной. В желудке ничего, кроме желчи. Кое-как ополоснув лицо, прикладывается ртом к кранику. Напившись, кряхтя и кашляя, согбенный, проходит в кухню. На подоконнике, в тени цветущего лимонника, лежит Маня. Заметив Александра Сергеевича, боязливо отворачивает голову к окну и делает вид, что заинтересован бьющейся в межоконном проеме мухой.

— Ну, не хочешь здороваться, не надо. Где-то у меня оставалось, если только бабка не вылила.

Находит за батареей початую чекушку, жадно выпивает и заедает неубранной со стола звездочкой «Вискаса». Через минуту алкоголь действует, и Александр Сергеевич чувствует прилив сил, как физических, так и душевных. Осмелев, развязно поворачивается к Мане, претенциозно скрещивает руки на груди, хитро шурит подернутый катарактой глаз и начинает в тысячный раз знакомый обоим разговор:

— Ну, вот, ответь мне, хто ты таков есть? А?!

Маня в ответ недовольно фыркает, пугается, случайно задев плоды лимонника, но терпит.

— Гляжу я на тебя и не пойму! Мужик ты али баба? Какого рожна тебя держат? Ради какой такой прогрессии? Мышей не ловишь, Васька для того поставлен. Гладить тебя — себя не уважать! Каков от тебя, кастрата, прок? Ответствуй! А, молчишь?! То-то...

Маня не выдерживает, обиженно спрыгивает с подоконника и убегает.

— Правильно, давай, шелести отседова, андрогин несчастный!

А потом еще вдогонку, срываясь на фальцет:

— А дочь меня любит! Отца-то! Не забывает! Так-то!!!

Смахивая слезу со щеки, пробирается в коридор, находит куртку и, потев от волнения, шарит за подкладкой. (Память, увы, не дает положительного ответа о наличии заначенного вчера полтинника.)

— Ну, вот! Молодца! — отыскав, любовно разглаживает сложенную вчетверо купюру.
— Поправится Саша, значит!

— Сашка дурак! — отвечает на удар захлопнувшейся двери Кеша.

Возвращающиеся с утренней прогулки подруги издали замечают торопящегося Александра Сергеевича.

— Вон, гляди, твой поковылял! Невмоготу, видать! — восклицает Мария Арнольдовна.

— И не говори, Маш. Когда ж они до смерти-то налакаются? Поверишь ли, сдохнет — не заплачу! Всю жизнь мне измызгал дурью своей! Себя да других измучил! А Бог терпит. И мы... Ты в поликлинику завтра пойдешь?

— Да! К глазнику. Внутриглазное проверить.

— Вот и я к зубному. С протезом — беда...

Расходятся по домам, пообещав встретиться вечером. Возвратившись, Авдотья Львовна в очередной раз кормит своих питомцев, производит влажную уборку во всей квартире, кушает картофельный суп с клецками и, усевшись в старое выцветшее кресло, включает телевизор.

Как и многие люди ее возраста, она боготворит сериалы. Смотрит их внимательно. На рекламу не уходит, опасаясь пропустить самое значительное. Знает по имени каждого героя и всем сердцем болеет за судьбы полюбившихся персонажей. Искренне, по-детски расстраивается, если по какой-то причине пропускает серию. Но, посмотрев ее следующим утром при повторном показе, успокаивается и умиротворенно живет дальше.

Сериал, по мнению Авдотьи Львовны, обязаны смотреть все члены семьи (Александр Сергеевич не в счет), поэтому даже клетка с Кешей переносится на время телесеанса из кухни в зал, где торжественно устанавливается на табуретку вблизи телевизора. Маня вальяжно устраивается на коленях хозяйки, Василий в ногах. Первые минуты смотрят молча, словно боятся нарушить намеченный в предыдущих сериях ход событий. Вскоре, убедившись, что все идет по плану, бросают разного рода реплики.

— Правильно! — со знанием дела говорит Авдотья Львовна. — На кой черт ей этот Хорхе сдался. Сам как петух в курятнике, а все ему мало!

Маня с Василием в ответ многозначительно переглядываются и в знак полнейшего согласия довольно урчат.

— Сашка дурак, — резюмирует Кеша. — Кис-кис.

Коты по привычке вздрагивают. Авдотья Львовна добрым взглядом успокаивает их, почесывая Мане шею:

— И Сашка, да... такой же козел был. Еще похлеще! Все они ходоки, пока пороху хватает, а как кончится, так к бутылке присасываются.

Где-то на середине серии слышится лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке — накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка.

— Что...?! Отец вам не тот?! Пригрелись да?... На шее... Я, погодите, устрою вам, где р... Круша все на пути, проходит в свою комнату, падает на диван и засыпает.

— Легок на помине-то! Варвар, — вздыхает Авдотья Львовна. — Ладно, ну его...

К концу сериала Авдотья Львовна почти всегда засыпает. Сегодняшний день — не исключение. Коты тоже бы не прочь заснуть, но храп хозяйки настолько громок и необычен, что сделать это почти невозможно.

Снится Авдотье Львовне в последнее время один и тот же сон. Будто она-первоклассница возвращается из школы домой. Причесанная головка в огромных белых бантах. Поверх школьного платья белоснежный накрахмаленный фартук с развесистыми кружевами. Ножки в белых праздничных гольфиках и розовых лакированных туфельках с красной каймой по краям. За спиной новенький кожаный ранец, к первому сентября родителями подаренный. В нем учебники разные, пенал с ручками, да тетрадки с первыми четверками и пятерками. На радостях по пути забегают в кондитерскую и покупают у продавщицы тети Любы (маминой знакомой) сто граммов ирисок. Тетя Люба отпускает, добавляя бесплатно еще парочку, добродушно улыбается и машет рукой вслед.

— До свидания! — весело говорит девочка.

Выйдя на улицу, исподлобья глядит на солнышко, словно спрашивая: «Можно?!» Солнышко улыбается: «Можно!» Авдотья Львовна аккуратно разрывает пакетик, смотрит на конфетки, не спеша, любитесь обертками. Во сне они не такие, как наяву — блеклые и неинтересные, а наоборот — блестящие и разноцветные, как узоры в калейдоскопе. Звонко смеясь, разворачивает, кладет в ротик, жует своими наполовину молочными зубками, прикрывая от удовольствия глазки. И кажутся ей эти ириски такими сладкими, такими необычными... Они точно тают во рту, как сладкий волшебный снег, заставляя думать, будто нет на свете ничего вкуснее и замечательнее...

И все было бы как и прежде, если бы на этот раз одна, последняя ириска не оказалась такой твердой, каменной будто, что разжевать ее семилетней Авдотье Львовне оказывается не под силу. Плачет она от бессилия и обиды во сне своем детском, и наяву тоже плачет, всхлипывает. Да так жалобно, так громко, что попадает эта самая ириска ей в дыхательное горлышко и застревает там намертво. Ни туда, ни сюда..

От нехватки воздуха охваченная ужасом Авдотья Львовна просыпается. Испуганно качает всем телом из стороны в сторону и силится позвать на помощь Александра Сергеевича.

— Са... шаа... — с трудом вырывается у нее из груди.

— Сашка дурак, — отвечает ей Кеша. — Кеша птичка. Кис-кис.

Маня в ужасе спрыгивает с трясущихся колен хозяйки и вопросительно смотрит на Василия, который хотя и не теряет самообладания, но на всякий случай отбегает в сторону. Притаившись, не моргая, выжидающе смотрит медно-желтыми глазами на задыхающуюся хозяйку. Мгновение... и силы вовсе покидают ее. Кот мужественно опускает голову, шевелит усами и уходит прочь, случайно задев хвостом кусочек зубного протеза, так поздно выпавшего изо рта Авдотьи Львовны.

Тварь

Неужели вышло?! После сонма лет бесплодных мечтаний, жалких неутомимых фантазмагорий о призрачном, невероятном, но упоительно сладостном. Три тысячи тягучих, резиновых дней и ночей мне грезился этот долгожданный миг! Светлый, свежий, как апрельский ручей, легко берущий жизнь из снега и солнца, как летнее искристое утро после утомительного обложного дождя. Вот он пришел, и дышит на меня и сквозь меня пропитанным пряным ароматом луговых трав ветром. Будит заиндевевшую, закостенелую за сонные годы плоть, возвращает к жизни, казалось, на веки погребенную душу. Свобода — имя ему! И важно ли, что вырвана она силой, а не дана даром? Бреду по ней в грязной, обглоданной тюремной робе, впускаю в себя, и знаю — она повсюду. Трогаю ее обветренными, потрескавшимися губами, жадно пью большими хлебками и не могу утолить жажду. Во всем она! Даже в проржавленном конском щавеле, в раздавленных одиночеством замшелых пнях, в серой мертвенности костлявых замоин, в малых и больших, дышащих зловонием болотных лывах. Чем заслужил я это отдохновение? За что мне такое? И никому не надобен я здесь. Разве что одиноко парящему аисту-падальщику, субтильной цапле с жирной жабой в клюве-копье? Хитрой ли сороке, тревожащей густой покой развесистых ветвей одичалой яблони? Трудяге-ежу, везущему на колючем тельце надломанный груздь? Может, им? Ну и слава богу...

Два дня в пути. Сухари давно съедены, сало еще раньше. В карманах дички и щавель. И то отраднo. Но знаю, куда иду. Километров пять, и начнется другая зона, зона отчуждения. Там-то и упаду...

Бронзовый, закопченный по краям диск солнца медленно прячется за ржаво-серый дирижабль облака, проползает сквозь него, спускаясь все ниже и ниже, тянется к шерстяной нити горизонта.

За молодым, редким, погнутым недавним вихревым березняком виднеется зеркальный осколок речки, а за ней, словно только что вынутый из печи бурый каравай лысой горы. Туда мне...

Запах костра бьет по ноздрям. Голова опасно кружится от голода, глаза суетливо, позвериному рыщут по вечерней дали в поисках отблеска спасительного огня. Где он? В глазах темнеет...

— Беглый! А долоня, як у лягвы! Ишь, какой! Сотворюэ ж боже! — слышу скрипучий голос над собой. Сам чую, лежу на чем-то меховом, теплом и живом. — Не бойсь, Веста разумна псина, не тронет...

Чьи-то вымазанные сажей ладони подносят к моему рту надтреснутую у горлышка крынку, из которой доносится запах спирта.

— Воды бы... — говорю, но меня не слышат.

Выпиваю залпом. Нутро испуганно вздрагивает, но мгновение спустя благодарно отзывается теплом. Как ни странно, будто трезвею от накопившейся усталости, оттаиваю. Те же руки протягивают обугленную со всех сторон картофелину. Разламываю надвое и втягиваю всем своим изголодавшимся существом горячий пар молочно-белой мякоти. Блаженствую. Как мало надо мне...

Их трое. Бичи. На зоне, перед побегом, арестанты говорили о них. Первый (видимо, вожак), мужик лет пятидесяти пяти, с длинной, в просмоленных грязно-коричневых комьях бородой. На нем новенькая темно-синяя фуфайка, офицерские бриджи полевого покроя и яловые сапоги. Сидит молча, словно о чем-то думает, и внутри же себя рассуждает. Его лицо постоянно меняется, являя то беспокойство, то умиротворение, то равнодушие. Кажется, что по чьей-то неведомой воле он должен нести ответственность за своих собратьев.

Двое других — помоложе. Один — бледно-рыжий и лысый, в крупных бесформенных веснушчатых пятнах, спускающихся с безбородого, гладкого как у ребенка лица до шеи. Шея же опасно тонка, да так, что голова кажется несоизмеримо огромной, словно обузой ей. Постоянно курит махру пополам с мелко нарезанным сушеным яблоком. Смесь лихо забивает в скрученную из газеты козью ножку, близнецов которой время от времени штампует себе впрок. Беспреданно заходится кашлем, утыкаясь ртом в свой почти детский кулачок, сморкается в большущий шершавый лист лопуха и как будто чего-то ожидает.

Другой — узкоглазый, скуластый и смуглый, с густой шапкой смолянистых волос. Деятельный, бойкий, он внимательно следит за костром и за увесистым окороком, жарящимся на стальном пруте. Постоянно недовольничает, смешно покряхтывает и матерится невпопад. Это он назвал меня беглым.

Солнце заходит, оставляя на прощание над горизонтом рваную, похожую на разлитый кисель малиновую полоску. Редкие звезды уже смотрят сквозь уставшее, точно изношенное, дырчатое небо, а бледная щекастая луна с каждой минутой становится все ярче и мудрее.

— Сейчас начнется... — смотря в сторону лысой горы, глухим голосом говорит рыжий.

Я не придаю значения словам, наслаждаясь так вовремя пришедшей сытостью. Она разливается по изнуренному долгой дорогой телу, точно волшебный эликсир лечит его и усыпляет. Но собака-подушка вдруг вскакивает с места, становится в бойцовскую стойку и начинает истошно лаять в сторону лысой горы. Вынужденно приподнимаюсь и выжидающе смотрю туда же.

— На место, дура! — осаждают вожак. — И вы тоже расслабьтесь, дурни. Семеныч, дай беглому рогача, а то от картошки ему не больно сытно будет.

Собака перестает лаять, но не успокаивается и, поскуливая, суетливо бегаёт взад-вперед. Семеныч (тот, который возится с костром) самодельным тесаком, похожим на мачете, щедро отрезает приличный кусок от почти готового окорока, вонзает в него новенький промасленный стопятидесятимиллиметровый гвоздь и протягивает мне. Я подношу кусок ко рту и вдруг слышу с той стороны реки отчаянный рев.

— Мармооорооу! Аааня!

Он то ли детский, то ли женский, но с явной примесью звериного хрипа. Вдалеке же, сквозь полупрозрачную сыворотку тумана, едва различим человеческий силуэт, то поднимающийся, то опускающийся над вершиной лысой горы.

— Что это? — спрашиваю я.

Бичи оборачиваются, переглядываются и, едва ухмыльнувшись, продолжают молчать.

— Расскажи ему, — робко обращается к вожаку рыжий.

Тот недовольным взглядом окидывает своего собрата, затем равнодушно скользит по мне, устало улыбается и, приглаживая растрепавшуюся бороду, качает головой:

— Зачем ему? У него своих проблем теперь по гроб жизни хватит.

— Расскажи, все равно-то попытаться будет, — настаивает рыжий, опустив водянисто-серые, почти бесцветные глаза. — Пусть лучше мы, чем беглые небылицы складывать станут.

Вожак нервически почесывает бороду, опять чему-то усмехается, машет рукой:

— Ладно... Только пустое все... Налей ему...

Сам еще долго вглядывается в черничное послезакатное небо, лениво выуживает из початой пачки «Астры» сигарету, задумчиво разминает ее закопченными пальцами и, чуть прищурившись на чахнувшие угли костра, начинает:

— Давно это было, еще до всего этого атомного безобразия... Ты пей, беглый, закусывай, не стесняйся. Бери, пока дают... На той стороне деревенька имелась, она и сейчас есть, но не та уже... Безлюдная, пустая... Работал я там пастухом, если занятие это работой назвать можно. Пил по-черному, мда... Со скотиной поведешься, в скотину и превратишься. Так вот, приехала к нам из Гомеля, или из-под него, бабенка чудная. Цыганка ли она была, мультайка,

черт ее разумеет, но то что не наших славянский кровей — точно. Чернявая, кудрявая, подбористая. Красивая, падла. А самое главное, на нашего брата падкая. Многих к себе из местных приваживала, пускала то бишь. Я и сам к ней попервой частил, пока не понял, кто она есть и по какую сторону от Бога находится... О, слышь?!

Вдруг опять доносится до нас отчаянное, задиристое: «Мармооороооу!» — только глуше и жалостливее...

— Вот, животинка! Как смерти просит! — прислонив указательный палец к уху, восклицает вожак. — Невмоготу, видать! Ты только подивись, беглый!.. Ну, так о чем я гутарил-то? Ах, ну да... Говорю... А что?! Был грех такой, да и не мужик я, что ли? У нее-то стегна, уух, широченные, а талийка, если двумя ладошками перехватить, коряги-то и смыкаются. Во, какая! Так-то... Жила она попервой вроде как все, хотя, признаюсь, было в ее наружности что-то нечистое, темное, другими словами, умишке простого человека неподвластное. Я так разумею, чаклунка она была природная. Бабы местные, прознав о ее способностях, животинку приводили хворую, да мальцов пуганых. Та и заговаривала их по-своему. Как-то жила, в общем, да и народ со временем к ней пообвыкся. А куда деваться? Жизнь-то никто не отменял! Хотя, повторяю, особой любви не испытывал по причине мной названной. А еще сказывали знающие люди, грех на ней смертный висел, с малолетства. Будто насильничал ее некто, и она вроде как младенца выродила порченого, с ладошками як у пипы, перепончатыми, и, испугавшись изрядно, на смитник снесла. Отвязаться, значит, хотела. Ну, вот и отвязалась, а черт ее за это и наградил чарами бесовскими... Так-то... А когда громыхнуло в восемьдесят шестом, всё тут замысловатое и началось. Народ разумный быстренько поразъехался. Остались лишь песочники, да такие, как мы — бедолажные, которым ехать особо некуда. И она почему-то осталась. Да кто ж ее знает? Думаю, не было у нее никого, кто бы ждал ее и принял. Стала бы она, кабы все путем шло, из Гомеля в нашу тьмутаракань тащиться? А еще сказать надобно, скот и прочая живность, которую в расход пустить не успели или не захотели, разбрелась повсеместно бесхозным образом. Одних волки задрали, другие сами пали, еще каких оставшиеся людишки к себе позабিরали... А что, молоко хоть и фонит изрядно, но ведь мо-ло-ко! И вот она из таких, стало быть. Много чего себе в хозяйство подобрала, хотя раньше, окромя курок, ничего-то у нее и не водилось... Хряка породистого, блудного из сосняка вывела, свиноматку супоросную заимела, коняка точно был, корова, коза... Я еще потешался тогда над ней: «Це ж як одна жинка таким зоопарком керуваты здатна?» Но, что и говорить, управлялась...

Прошло года два и стали крики жутчайшие из ее хаты доноситься, да такие, что не то что попытать, а подойти было страшно... А еще через годок начали до нее машины дорогие со столичными номерами приезжать. Откуда прознали? С другой стороны, на то она и власть, чтоб обо всех и о каждом в отдельности представление иметь. Так-то... Приезжали и забирали у нее в ящиках оцинкованных «что-то», «это самое», о чем и догадаться боязно. Но она довольная ходила, гордая даже. Может, приплачивали ей?

Когда же еще пару годков минуло, захворала крепко, видать, не всем здесь в полном здравии оставаться. Радиация, как-никак. Исхудала до неузнаваемости. Скелет, кожей перетянутый. Но стоит отдать должное, как-то шаркала, ходила, значит. Сколько ж веревочка не вейся, концовка одна... В общем, нашли ее бездыханную бичи наши в березняке малом. Ты поди, беглый, проходил его? За сыроежками, должно быть, выползла. Они в те годы крупные вылуплялись, после дождичка-то особенно, с кавун страханский размером.

Хоронить на кладбище не посмели, потому как ведьм разношерстных не положено хоронить в людских местах. Свезли на лысую гору, там у нас раньше давлеников и душегубцев упокоивали... Привезли и поховали. Креста, понятно, не справили. Денька через три приехала опять тарантайка дорогая, покрутилась вокруг хаты и ни с чем укатила. А мы что ж, люди любопытства не меньшего, в дом ее тоже заглянули. Да ничего в нем небывалого не сыскали. А вот зато в сарайчике сыскали. Там, окромя мест для живности ее многочисленной, было еще

одно место странное, вроде как каморочка. В сарае-то! И была в той каморочке люлька, под существо человеческое приспособленная, да только от колоды сарайной мотузка тянулась, и была та мотузка крепчайшая, канатная, должно быть, но — а в этом вся суть — оборванная, а вернее сказать, перекусанная. По всему видать, та тварь, там обитавшая, сбежала... Сечешь, беглый? То-то... Узнали об том все уцелевшие деревенские, милиция тоже прознала, и русская, и украинская, и белорусская. Стали шукать. Но ничего не нашли, хотя слышать слыхивали и даже издали бачили... Поймать же сноровки не хватило, и по сей день не хватает. Потому как в твари этой есть что-то не от мира сего... Ты ешь, беглый, ешь! Чего стремишься?

Я гляжу на зажаристый, порядком подостывший кусок лосятины, но понимаю, что после таких рассказов не полезет он в нутро мое.

— Не лезет... — говорю.

— Да чего там не лезет! — усмехается вожак. — Ешь, не бойсь. Здесь поживешь, и не такое услышишь! И за себя, грешного, не переживай. Я тебе поутру все растолкую. Как, чего тебе робить надобно. Есть тут хаты пустые. Ты хлопец крепкий — выживешь! Много тут вашего брата прячется, в зоне-то... И она, тварюга, тоже прячется. Выходит, похоже вы во всем... А ведь сколько с той поры годков минуло, за двадцать будет, а она все жива, тварюга эта. И ходит до мамки своей на могилку-то. Хнычет всё, воет... Видно, даже у твари безродной душа имеется. Да только не знает она, бедолажная, как с ней распорядиться. Да и виновата ли она в чем, если поразмыслить? Мамку же не выбирают... Иные человеки куда хуже будут. Понатворят за жизнь свою чертовщины с три короба, и живут припеваючи. А обличье у них человеческое, не звериное. Тут же напротив все... Вот и кумекай... Эх, спать надобно. Спи, беглый, и вы все спите... Веста, иди к беглому...

Утро острием солнечного луча безжалостно бьет по глазам, вспарывает по шву, казалось, сросшиеся за ночь веки. Веста уже вертит пушистым хвостом, радостно бегая за всюду суетящимся Семеньчем. Рыжий, сгорбившись, сидит на невысоком пеньке и, время от времени щурясь от восходящего солнца, чистит картошку...

Вожак зачем-то крутится около яблони, курит и все бормочет себе под нос:

— Приходила, приходила тварюга... Вот же...

Через час я уже шагаю за ним к близлежащей мертвой деревне. Послушно внимаю вкрадчивым наставлениям бывалого, всезнающего бича. Что ожидает меня там, за рекой, не волнует. Будущее, как и прошлое, теперь находится по обоим краям узенькой тропинки под названием жизнь. Одна она представляет для меня интерес.

И только подходя к реке, случайно оглянувшись на оставленных позади Рыжего и Семеньча, припоминаю увиденное ночью.

Помнится, заснул сразу, да и как не заснуть после двух дней изматывающего пути, чистого спирта и удивительных сказок на ночь. Да еще под разноголосый убаюкивающий треск цикад, кузнечиков и непрестанное залиvistое кваканье болотных жаб. К тому же, воздух ночной, перемешанный с терпким дымом костра, настоянный на луговых травах и пропитанный сладковатой сыростью близкой речки, обжигал своей свежестью и подобно морфию усыплял. Удивительно, но не привиделось мне ничего дурного тогда, хотя должно, наверное, было привидеться. Спал я сном мертвецким, каким бог награждает лишь в раннем детстве. И только под утро, когда псина, притомившись лежать подушкой под моей головой, поднялась и распласталась в ногах у вожака, очнулся я и увидел возле развесистой яблони какое-то существо. Пола оно было женского и облика необычного. Голое, с кожей человеческой, но огрубевшей, словно подпаленной огнем, и покрытой всюду обильной клейкой испариной, с шестью кровотокающими сосцами, щетиной черной усеянными, и с таким же, как у варанов тропических, бородавчатым гребнем на холке. Руки же у него — крохотулечки не доросшие, а ноги, напротив — толстые, слоновые, с раздвоенными бурыми копытцами. На голове же волосня черная с частой проседью, почти человеческая, только гуще, длинная и выющаяся...

Смотрю я и понимаю, что существо это слепое, потому как глаза его наглухо затянуты бельмами размером с пятак. Стоит оно, и добродушно лыбится рыльцем пороссячим. Словно донести до меня хочет: «Пойдем со мной, человечиче! Или не такая же ты тварь, как и я?! Вместе-то нам сподручней управляться в миру будет...» И, мол, никуда тебе от этой правды не деться!

Но не боюсь я почему-то. Не боюсь и все. Может, оттого, что зверю зверя бояться незачем? Одной ведь кровушкой живы. Привстаю на корточки, думаю подняться, подойти ближе, но оно возьми и испарись, будто и не было его вовсе...

Вечные похороны

Очередное дежурство по гарнизону. Грязно-желтый, выдавший виды «пазик» жалобно побряхтывает возле входа в помещение оркестра. Мы — солдаты-срочники, вооружившись надраенными до неестественного блеска инструментами, топчемся на месте в молчаливом ожидании. Курим одну за одной, втягивая едкий дукатовский дым, не задумываясь почти, что он, прежде чем проникнуть в легкие, перемешивается с запахом выхлопных газов автобуса. Замечаю, как моя физиономия карикатурно отражается в зеркальном раструбе валторны одного из сослуживцев. Вспоминаю детство, «Комнату смеха» в городском парке. Тогда было действительно смешно...

Слава богу, большой барабан у меня сегодня деревянный. Таскаться с железным по кладбищенской не основательно замерзшей грязи было бы верхом несправедливости. Сверчи, как всегда, не в меру веселые и злые. Их пошлые «бородатые» шутки вынуждают меня отойти чуть в сторону. Издали чувствую их болезненное нетерпение. Видимо, кто-то уже подсуетился, заначив пару поллитровок на время долгой дороги. Наконец доносится бодрящее: «Пора...» Садимся... Выдвигаемся...

У «духа» Жени Мисина, уроженца славного уральского города Миасса, первый за службу жмур. Сидит беспокойно, беспрестанно ерзает, нервно перебирая озябшими пальцами вентили тубы, которая почти одного размера с ним. Рост Жени — метр пятьдесят. Кто-то из старослужащих зло пошутил, сказав, что по неписаным законам военно-оркестровой службы, в «первый жмур» «духам» полагается целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и трясется теперь, боязливо косясь на прожженных «дедов». Но иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно поправляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую переносицу. Готовится боец!

Разливают пойло. В этот раз я ошибся. На дворе девяностый год, водки днем с огнем... Поэтому технический спирт — почти что напиток богов. По правде говоря, начальство выделяет его для самих инструментов, чтобы вентильные механизмы медно-духовых на морозе не крякнулись. Но на начальство сверчам плевать. Оттого используют «огненную воду» по своему усмотрению, то бишь внутрь. В этот раз на брата приходится почти по стакану. Стакан один на всех. Пьют залпом, но мелкими глотками, аскетично занюхивая безначинковой карамелью «Снежок». Выпив, почти синхронно закуривают и начинают забивать «козла».

Меня, как всегда, чуть подташнивает на заднем сиденье. То ли от подпрыгивающего на неровностях дороги автобуса, то ли от спертого запаха в нем. Коктейль из технического спирта, сигарет «Дымок» и карамели «Снежок» — самый недорогой коктейль в мире... Некоторые солдаты не выдерживают, засыпают, неудобно подложив ребристые фуражки под стриженные головы.

«Странно, — справившись с тошнотой, про себя рассуждаю я, — почему мы сегодня в фуражках, а не в шапках-ушанках? Переход на зимнюю форму одежды давно позади... Видимо, хороним какую-нибудь шишку. Отставного генерала или полковника...»

Доиграв, сверчи утихомириваются и тоже постепенно отходят ко сну. Пилить еще минут сорок. За окном промозглый бесцветный ноябрь. Ни снега, ни дождя. Оттого делается еще зябче. Скорей бы настоящая зима. Со снегом теплее и уютнее. Прохожие, торопящиеся по своим гражданским делам, вызывают зависть. И нет им дела до нас. Вот бы мне так... Счастливые... Служить еще месяцев семь, это если без залетов, а так — и до сентября могут продержаться...

Я не выдерживаю наплыва упаднических мыслей и тоже засыпаю, приладив голову к обшарпанному кадлу барабана. Снятся домашние, неестественно большие пельмени, почти

манты. Затем фабричные заварные кольца с творогом и обитая рыжим дерматином дверь родного дома... Я подхожу к ней, жму на звонок и...

— Шевелим мудями! Выплываемся! — раздается хриплый голос старшины.

Домодедовское — самое мерзопакостное кладбище из всех московских. Ни одного деревца. Обглоданные ранними заморозками кустики черноплодки, и то по периметру. Широченное голое поле с желтыми холмиками, отдаленно напоминающими детские песочные куличики. Невдалеке по пояс раздетый могильщик роет яму. Пропорционально накаченный и не по-советски загорелый, чем-то походит на Жана-Клода Ван Дамма. Мне становится нестерпимо холодно при виде его. Где-то метрах в пятидесяти от нас по широкой песчаной дороге тянется очередь разноцветных катафалков и их сопровождающих. Кажется, что хоронят здесь, не переставая, и днем и ночью. Вечные похороны...

«Красный, черный, голубой, выбирай себе любой!» — неудачно пытаюсь пошутить я.

Конца этой очереди не видно. Глядя на увлеченного работой могильщика, понимаю: смерть — самое прибыльное занятие в нашей стране...

До Жени наконец доходит, что его жестоко обманули. Искренне радуется и расслабляется. Сверчи же цинично подтрунивают над ним, да и мы тоже не заставляем себя ждать...

Забивают третий гвоздь. Вступая не вместе, душевно выдаем Шопена. Не люблю «романтистов», особенно в переложении для духового оркестра. Куда больше по сердцу «венские классики». (Они так и остались незапятнанными.) Слышится женский вопль. (Наверное, хорошим человеком был тот генерал или полковник...) Но нас он совсем не трогает. Ни генерал, ни вопль по нему. Что поделать? Иммунитет... Впопыхах выдуваем гимн: «Славься, Отечество наше свободное...». Воспроизводить дробь на большом барабане с помощью одной колотушки в заиндеветой руке — почти искусство. Заставляют испуганно вздрогнуть выстрелы в воздух — типа салют. За полтора года службы так и не смог к нему привыкнуть.

Наконец-то все кончилось... Идем бодрым шагом к автобусу. Скорей бы в казарму и, как говорят стройбатовцы: «на массу»... По пути натываемся на скромно организованные похороны ребенка. Гроб бледно-розовый, маленький. Очень маленький... Провожающих трое: седоватый старик лет шестидесяти пяти и парень с девушкой, чуть за двадцать. Вдруг начинает идти снег. Первый в этом году. Крупнокалиберные хлопья покрывают за полминуты розовый ситец, и он выглядит еще более бледным.

Между тем, смахивающий на Ван Дамма могильщик говорит провожающим, что вроде как пора. Девушка обреченно кивает. Гроб медленно опускают в яму и потихоньку начинают засыпать коричнево-ржавой землей. Старик не выдерживает и, пряча лицо в ладони, плачет. Тут с девушкой случается истерика. Она что-то грубое выкрикивает в адрес парня и отчаянно трясет его за рукав пуховика. Неожиданно ее нога соскальзывает, и она падает в яму, прикрывая собой припорошенный гроб от летящих с совковой лопаты комьев земли. Старик и парень неумело помогают ей выбраться. Через какое-то время сладковатый запах корвалола доносится до меня запахом самой смерти. (Эта ассоциация останется в моем сознании навсегда.)

Ошарашенные увиденным сверчи шепотом матерятся, но неожиданно замолкают. Мы тоже молчим. Молчим до самых Хамовнических казарм...

Последний парад

То ли дело мой первый парад. Осенний, ноябрьский, восемьдесят девятого. Один из старослужащих говорил тогда, показушно стряхивая пепел в ладошку, вспоминал свой первый:

— Гимн играешь и сам себе удивляешься — мурашки по коже, слезы на глазах. Гордишься происходящим и своей причастностью к чему-то великому, настоящему...

Не верил я ему тогда. Да и никто не верил из молодых. Слушали, посмеивались в сигарету. А время подошло — узнали, ощутили кожей. Сердцем поняли, что не все так просто и приземленно. Как ни крути, есть в этом действе что-то мистическое, неподвластное рассудку и воле. Точно есть. Да и как не быть, тысяча человек трубит одно. Но это одно — выстраданное, великое, необходимое, как кровь. Стоим, вытянутые в струну — винтики-шпунтики, но не понятно почему, непередаваемо приятно ощущать себя этим винтиком. Гордыня — через пятки в землю, гордость — свечой в груди. Парадокс, но факт. А тут дождь еще. Брусчатка мокрая, скользкая, зеркально-серебристая. Боязно по ней расхаживать в хромовых сапогах на тонкой гладкой подошве. Опасаешься, как бы не навернуться на глазах у всей страны. Тоскуешь по кирзачам. Тем не менее, шагаешь, чувствуя ступней каждый бугорок, каждую выемку. И знаешь, что помнят эти бугорки и выемки другие сапоги, тех других, которым мы — не чета.

Теперь иное дело. Всё знаешь, ничему не удивляешься. Всё по накатанной. Вертушка, репертуар. Запах гуталина и мефикса, аксельбанты, бляхи на белых лакированных ремнях, солнечные зайчики повсюду от меди надраенной. Хотя дата обязывает относиться к делу с особым усердием. Сорок пять лет со Дня Победы, как-никак.

Поутру армейский харч не лезет. Чай да хлеб с маслом запихнешь в нутро, «явкой» на халявку подымишь — и на аэродром. Репетировать! Пока доедешь, голод предательски даст о себе знать. А там пища только «духовная» или, лучше сказать, духовая, в виде маршей и «зорек». Крышу от них рвет с корнем: «Все выше и выше, и выше...» И так пару десятков раз за день. Один «Десантный батальон» Окуджавы, пожалуй, радуется. Но его редко исполняем — когда техника катит. А катит она медленно, мощно, окутывая всё и вся черно-сизым мраком выхлопных газов. Намертво заглушает звериным рыком тысячный оркестр. И не помогут тут ни трубы, ни барабаны, ни геликоны. Безоговорочно капитулируешь перед ней, ощущая явную бесполезность оркестровых партитур в военном деле. Понимаешь или догадываешься, что такое война. Примерно, конечно. Они ж, дуры, просто едут, не стреляя, не взрывая. А если по-другому?! Не приведи Господь.

Периодически привозят ветеранов. Строят. Командуют стариками. Учат маршировать, держать равнение, тянуть носок. Заново. Они не то, что мы. Подход к делу сознательный. Знают, что за праздник, не по календарю знают, и цену ему. Стараются изо всех сил, правда, не без волнения. Как дети переживают, если что не так получается. Больно смотреть порой. Слава богу, для них, ну и для высшего командного состава, конечно, расположили на обочинах темно-зеленые шатры — полевые буфеты. В перерыве заскочил в один на свой страх и риск: пепси-кола, бутерброды, печенье. Нормально. Там же невдалеке «скорая» на стреме. Кому-то из стариков, помню, стало плохо. Увезли...

До генеральных репетиций на Красной площади дней пять-шесть. Приехал начальник московского гарнизона. Посмотрел на все это «безобразие» и... забраковал. Типа, как в том анекдоте: танки едут не туда, пехота бежит не сюда, а если война, кто будет Родину защищать? Но если серьезно, не понравилось ему все, как говорится, от увертюры до коды: и как войска шагают, и как техника едет, и даже ветераны какими-то не такими вышли — вялыми, что ли. Оркестру тоже досталось «по самый си бемоль». Наш музыкальный генерал в тот роковой день походил на рядового, даже генеральская звезда потускнела и уменьшилась до лейтенантской. Бегал, кричал, страшал. В итоге, приказал все поменять к ядреной фене. И это за неделю-то до

парада! Прикрепленные к нам дирижеры-майоры после этого как с цепи сорвались, не зная, что придумать. Придумали. Ввели в программу парада дефиле. На человеческом языке это что-то вроде танца с музыкальными инструментами. И правда, нет ничего забавнее танцующего солдата... Тут главное не запутаться. Запомнить, куда поворачивать и сколько шагов идти. Меня бог миловал, в этом смысле.

— Это ж надо, — говорил один мой сослуживец тогда, — месяц мурыжить, заучить все как следует, а за несколько дней до мероприятия поменять. И так все осточертело. Люди, наверное, смотрят на нас, и понять не могут: чем это солдатики занимаются?! Парад репетируют или дерьмо под музыку месяц?!

И впрямь, все осточертело и всех достало.

Парадная подготовка начинается месяца за три с половиной до самого парада. Сначала в самих частях. Учим репертуар, ту же вертушку сдаем по одному старшине или начальнику оркестра. Потом в «Лужниках» доводим до ума. Опять же, что-то вроде экзамена. Все оркестры московского гарнизона раскидываются по лужниковским аллеям и паркам. Соревнуются между собой, кто громче, кто четче.

А уже после всего этого на Ходынское поле...

Но тем и сильна наша доблестная армия, что нет для нее непосильных задач. Приказали переучить, переучим. Хоть за ночь до парада.

И переучили... За день до генеральной репетиции приехал министр обороны. Для обычного рядового лейтенант безусый — лицо авторитетное. Полковник — царь. О генералах и говорить нечего — титаны. Поэтому министр обороны — почти Бог. Вернее, без почти, Бог — и все. Смотришь на него, как на очевидное-невероятное, восьмое чудо света, трепещешь. И все в строю трепещут, от старшин до генералов. На том армия и держится, как я понимаю.

Прибывший на прогон министр был последним из своих предшественников, кто сам прошел Отечественную войну. Странно, но, увидев его, я, вопреки ожиданиям, не испытал того холопского страха, к которому, увы, и меня приучила армейская служба. Судя по всему, это был человек по своей природе мягкий, с хорошо устоявшимися гражданскими принципами, хотя и старой, конечно, закалки. Не веяло от него ни солдафонской строгостью, ни показным высокомерием, которыми до мозга костей были пропитаны его золотопогонные подчиненные. Я, не испытывавший к отцам-командирам, да и вообще к армии особой любви, по-хорошему удивился его открытому улыбчивому лицу. Сама собой всплыла в памяти строчка из лермонтовского «Бородино»: «Слуга царю, отец солдатам». Сегодня, зная о событиях августа девяносто первого года, можно сколько угодно посмеиваться над этим, но тогда, в первых числах мая девяностого я (да, может, и не один я) думал именно так.

Затем следовали две ночные репетиции на Красной площади, и на каждой раза по два прогоняли весь парад. В принципе, ничего особенного. Единственное, что заставляло содрогаться, так это заплывшая центральные московские улицы тяжелая военная техника. Невольно вспомнилась черно-белая, пробитая серой рябью, военная кинохроника уличных боев. Привыкли мы к этой кинохронике. Смотрим ее, как что-то совершенно нас не касающееся, мифическо-эпическое. Отстраненно смотрим. А ведь на самом деле, все там нас касается. Не было бы этих боев, не было бы ни нас, ни вообще всей сегодняшней жизни. А она — есть. Плохая ли, хорошая ли, кому как. Но мирная. И в этом вся соль. В этом вся правда.

Меня всегда поражало то обстоятельство, что День Победы приходится на самое прекрасное время года, когда все вокруг покрыто молодой листвой, первыми цветами и обласкано начинающим набирать высоту солнцем. По мне, так это знак Господа: истинная, праведная победа не могла случиться ни зимой, ни осенью, ни даже в разгар жаркого знойного лета. По крайней мере, мне так кажется.

И вот именно в такой солнечный и зеленый день я стоял во втором ряду с правого фланга. И все выглядело точно так, как и полгода назад, только гораздо торжественней, светлей и ярче.

На параде было множество новшеств, одно дефили чего стоило. Художники-оформители воспроизвели памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Его изображал не то артист, не то действительно солдат, державший на руках девочку. Одну из войсковых частей московского гарнизона переделали в форму времен Великой Отечественной войны. Если не ошибаюсь, была даже конница.

Но радость почему-то не проникала в меня. Все смотрелось бутафорски, как декорация к давно наскучившему спектаклю. Гимн звучал обыденно и вяло, а ветераны, наряженные в безвкусные серые костюмы, показались нам чрезмерно уставшими. Ничего, кроме сочувствия, они у нас не вызывали. Хотелось, чтобы поскорее все это закончилось. Почему? Не знаю. Быть может, потому, что наступало новое время? Оно на наших глазах стучалось и рвалось на тоже как-то бутафорски расчерченную белыми линиями Красную площадь.

Проехала техника. Оркестр быстро перебежал на исходную позицию и двинулся вперед. Мой сослуживец Дима Хенкин шел с малым барабаном первым в шеренге, я с большим — вторым. На подходе к Мавзолею он в вполголоса сказал мне:

— Смотри, Горбач!

— Ага. Похож. В «увал» куда пойдешь сегодня?

— Не знаю. Может, к родственникам. А ты?

— Пиво пить на Арбат.

— А это что за хрень? — вдруг опять произнес Дима. — Слышишь?

И правда, на тухмановский «День Победы» откуда-то сверху наслоился «Солнечный круг» Островского. Через несколько секунд оркестранты стали сбиваться с шага и вскоре возникло замешательство. Солдаты и сверхсрочники смотрели на растерянных майоров. Те, в свою очередь, смотрели на генерала, который, как запрограммированный киборг, маршировал впереди, размахивая тамбурштоком. Большая часть оркестра еще не прошла мимо Мавзолея, а значит, (учитывая прямой эфир), вся эта чехарда стала слышна и видна, как на ладони. Спиной почуяв неладное, генерал дирижерским жестом прекратил нам играть, оставив звучать доносившийся из многочисленных динамиков «Солнечный круг». Нам же приказали что есть мочи бежать в сторону Васильевского спуска. И мы побежали: с большими барабанами, лирами, геликонами... Тысяча человек. Кажется, кто-то даже упал под конец...

А дело все в том, что вслед за оркестром, завершавшим военный парад, должны были выбежать дети с воздушными шарами, чтобы подарить их ветеранам, сидевшим на каменных скамейках близ Кремлевской стены. Но кто-то из звукорежиссеров включил музыку раньше, чем оркестр закончил свое шествие. Нам — молодым солдатам было, конечно, весело созерцать, да и участвовать во всем этом недоразумении, но представление было испорчено. Телеоператоры, вовремя сообразившие, что к чему, быстро отвели камеры в сторону ГУМа. Случившееся усилило мое равнодушие к происходящему и заставило думать о совершенно других, более насущных вещах: об увольнении, о родственниках, о пиве на Арбате.

Так закончился последний Парад Победы в стране, которая чуть больше чем через год прекратит свое существование. Жалко ли мне этой потери?

Не знаю.

Мы поколение раздвоенное, как бы разорванное на две части. Одной ногой мы стоим в той, советской жизни, где все-таки было много хорошего: великая победа в войне (на ней погибли мой дед и прадед, о чем я забывать не могу, не имею на то права), полет Гагарина, наше мирное, и, в общем-то, счастливое детство и юность. Было, конечно, и много плохого. Но ведь запоминается только хорошее.

Радуюсь ли я тому, что происходит сегодня? Тоже не знаю. Об этом надо спрашивать у молодых, тех, кому сегодня — по двадцать. Им не с чем сравнивать: они в этой жизни родились и выросли, и лучше меня знают, что в ней хорошо, а что плохо.

Я же, чем дальше уходит время, тем все чаще и чаще вспоминаю последний свой парад в составе сводного музыкального оркестра на Красной площади, и мне приходит в голову запоздалая и, наверное, странная мысль: может быть, не зря, не случайно в тот день одна музыка наложилась на другую, и мы, такие натренированные и сильные, вдруг сбились со строевого шага и скопом, натыкаясь друг на друга, побежали с Красной площади вниз по Васильевскому спуску...

Голова Олоферна

— Сегодня вечером идем к тете Инне! — неотвратимым приговором прозвучали для меня слова матери.

— Можно я останусь дома? — без всякой надежды взмолился я.

— Нет. Как мы тебя оставим? Газ, электричество. Всякое может случиться, ты еще мал.

Как мог, оттягивал. Придумал, что шорты велики, а красные колготки — девчачьи. Раскусили, нарядили. На улице выклянчил мороженое, а там и ситро. Смилоствовали, купили. Съел, выпил по пути, медленно. Родители делали вид, что не замечают моей подавленности. Говоря о своем, тянули меня то за руки, то за ворот ветровки, как непослушного ослика. Дотянули.

Вошли в подъезд, как в камеру пыток. Пока лифт вез к «эшафоту», затошнило. Голова кружилась, ноги дрожали, слабели. Вывели, как под конвоем. Нажали на звонок. Прозвучал призывно. Я испуганно вздрогнул, а новый бледно-желтый дерматин, покрывающий дверь, усилил тошноту.

— Заждалась вас. Павлик, ты чего такой хмурый? Хочешь ситро? — как Кролик из мультфильма о Винни-Пухе, поправила очки тетя Инна.

Нескончаемый поток «вежливостей» еще больше закружил голову, которая была опущена и подбородком приросла к ключице. Только б не смотреть.

Дрожащими руками отрывал ботинки от онемевших ступней и хотел было слепым котенком прошмыгнуть в комнату, опустив голову, чтобы только не увидеть. (Она висела в гостиной и из прихожей была всегда хорошо видна.) Но тетя Инна неожиданно твердо взяла меня за плечи, указательным пальцем подняла мой подбородок вверх, и мертвая голова скользнула по зрачкам. Я потерял сознание и упал...

— Джиудита! Как же ты красива, Джиудита. Эти бедра совершенны, как колонны храма Артемиды. Посчитал, милая, я желал тебя сегодня целых пять раз. Но это не приносит удовлетворения. Скорее, наоборот, отчаяние. Хочется большего. Когда любишь... всегда так... Хм... Забавно, твоя лодыжка в масле, а запястье в грунте. Неужели мольберт заменил нам ложе любви, Джиудита? — он смеялся, сидя в кресле, с почти уже допитым бокалом красного вина.

— Говорят, этой весной будет сильное наводнение, — не слушая, с печалью в голосе сказала девушка, разглядывая большую беличью кисть.

— Кто опять распространяет эту чушь? Такое же, как всегда... — он поставил бокал на резной столик с улыбающимися по углам слониками. — Не бойся, милая, это все слухи. Мне говорили, что Венецию в этот раз укрепили достойно. Дубовые дамбы и все такое... В конце концов, уедем в Кастельфранко...

Слоники, казалось, поморщились.

— Да-а, достойно... — задумчиво протянула Джиудита и вдруг суетливо перекрестилась. — Вчера весь день читала Библию, молилась... Ответь, милый, почему я такая слабая? Не чета тем, что в Писании...

— Это все преувеличения, не бери в голову... По красоте никто из них не сравнится с тобой...

— Не эта красота меня волнует...

— Духа ли? — зло усмехнулся он.

— Почему ты всегда смеешься надо мной?

— Я? Ты не права. Просто ценю в тебе лишь то, что явно...

— Тело?

— И оно прекрасно, моя милая Джиудита. Бог свидетель, душа твоя под стать ему...

Девушка дунула на кисть и попудрила себе щеку:

— Помнишь ту вдову, которая отсекла голову персидскому злодею... Чтобы спасти народ свой...

— Ах, вот ты о чем! — оживился он, протягивая руку к недопитому вину. — Ну, да: «Я совершу дело, которое пронесется сынам рода нашего в роды родов». А я всегда втайне симпатизировал месопотамскому разорителю. К тому же, точно знаю, неправда все это, и Навуходоносор вышел победителем. Да и она ли то была? Предатель Ахиор, сдается мне... Интересно, сколько вина было выпито из иерусалимских погребов?

— Как ты можешь так зло шутить? — Джиудита раздраженно бросила кисть в медную чашу.

— Не слушай меня... Ты же знаешь, я всегда говорю в таком тоне. Это помогает мне сохранять чистоту ума. Прости безродного сироту.

Девушка подошла к окну, отодвинула рукой штору и прищурилась от утреннего солнца. По каналу, умело орудуя веслом, вел в сторону площади Сан-Марко свою десятки раз штопаную лодку пожилой гондольер в черном плаще. Он вдруг поднял голову и посмотрел Джиудите прямо в глаза. Что-то странное было в этом мимолетном взгляде — зловещее или злорадствующее, — что-то не присущее солнечному венецианскому лету. Правда, старик тут же простодушно улыбнулся, обнажив черные гнилушки зубов. Однако Джиудита отпрянула от окна, уткнулась лицом в штору и расплакалась.

— Что там? — он вскочил с кресла, опрокидывая бокал с вином.

— Так всегда... — девушка уставилась на расплывающуюся по полу красную лужицу. — Это потому, что мы обычные слабые существа. Нет в нас духа Божьего. Одни сомнения. И они ведут нас и руководят нами. Смотри, вино как кровь! — Она обреченно вздохнула. — Оттого и любая мелочь кажется трагедией. Ты вот картины пишешь... В тебе хоть что-то есть от Него. А я? Кто я и зачем?

— Молчи. Вино не виновато... Ты же знаешь, что все не так. — Он спрятал девушку большими руками, краем глаза провожая лодку со стариком. — Хотя, нет, говори... Вот именно, от Бога. Это не я пишу, Он водит моей рукой. Да и зыбко все... Иногда кажется, что если подпишу, хоть одну, Он оставит меня... Не бойся, это Карло, он привозит мне вино и сыр...

— Ты слишком мнителен, милый, — казалось, испугалась уже чего-то другого Джиудита. — Рафаэль подписывает. А ты... ты лучше, чем он... Помнишь ту женщину на сундуке булочника Джованни? — она улыбнулась. — Они думают, это написал он, но не оставил подписи. Но я-то знаю, что это ты... К тому же, там и я...

— Все равно... Мне дела нет до Рафаэля. Писать мадонн, питая душу похотью одной — кощунство! Не удивлюсь, если испустит дух он на любовном ложе. Да что мне до него! Венеция каждый день рождает гениев. Тициан не менее одарен. Он еще покажет себя, ручаюсь. А наши с ним фрески в Фондако запомнят все...

Молчание наполнило мастерскую с обглоданными извечной сыростью потолком и стенами.

Они долго стояли, обняв друг друга. Ветер донес сладковатый запах воды, и вдруг его осенила какая-то мысль. Высвободившись из объятий девушки, ринулся он к окну и отчаянным движением сорвал штору.

— Ну-ка! — в заразительном восторге почти прокричал он. — Я лягу, а ты... ты укрой меня, да так, чтоб торчала одна голова... Давай же, Джиудита...

Девушка повиновалась, и вскоре он, удовлетворенный, принялся строить гримасы стоящему в углу зеркалу.

— Вот так! — воскликнул он. — Так всё и будет. Встань надо мной. Возьми трость мою. Подойди ко мне. Ну что же ты медлишь? Нет, не то! Что-то не так!

Девушку уже покинули темные настроения.

— Большой Джорджо, ты потешный, как дитя! — засмеялась она. — Не могу понять, чего ты хочешь и что себе вообразил.

— Люблю тебя такой! — не унимался он. — Поставь же ногу мне на лоб, поставь... Давай... Джиудита... Замри теперь... Что чувствуешь?

— Тепло!

— Хм... А должна холод...

— Да?!

— Ну, вот... так все и было! Так все и будет! Моя «прекрасная вдова»! Вина!

И потекли дни. Девушка позировала каждое утро. Облаченная в тонкое бледно-розовое платье, с тростью в руках, которая в их разговорах именовалась «злодейским мечом», она становилась у окна, подкладывая под голую пятку большую оранжевую тыкву.

Наступила зима, холодная и снежная. Но, к счастью, принесла она уютный треск поленьев, запах невысыхающего масла и терпкий вкус прощальных поцелуев. А потом обрушилась и весна... Тающий снег сильно поднял воду, и наводнение, которого так страшилась Джиудита, стало явью. Крысы, пугаясь вод, зловеще скребли пол и все чаще показывали свои усатые мордочки... А затем откуда-то с севера, позванивая глухими колокольчиками, пришла чума.

И однажды он заметил черное пятно на бедре Джиудиты.

— Сегодня последний день, милый, — твердо сказала она в тот вечер. — Я уйду. Смерть уже точит косу. Прощай, мой добрый большой Джорджо... Допишешь по памяти. Ведь ты будешь помнить меня?

Он смотрел на девушку, осторожно касаясь пальцами ее ресниц. Широкой теплой ладонью гладил потерявшую румянец, чуть прохладную кожу щек; слегка притрагивался солеными от слез губами к ее шее, которая по-прежнему была бела.

— Нет, Джиудита... Мои волосы черны, как вакса, и останутся такими навсегда... Как, впрочем, и у него, — он усмехнулся и кивнул на мольберт с почти готовой картиной. — Но главное не это... Никто и никогда, кроме нас с тобой, не будет знать, что герои не всегда герои, и злодеи не всегда злодеи, и что голова хмельного перса под пятой красавицы вдовы — это всего лишь ты и я. Хотя и любящие друг друга под звон чумных колокольчиков. Пусть только самое нежное сердце почувствует это. Увидит и не уstraшитя...

Через какое время я очнулся, сложно было понять. Напуганные родители делали вид, что все хорошо, дабы еще больше не пугать меня и не расстраивать гостеприимную и не меньше, чем они, переполошившуюся тетю Инну. Вскоре я уже сидел за столом, прожевывая странную котлету, начиненную рубленным яйцом, и пил ситро. Когда пришло время уходить, я без всякого страха подошел к картине. Осторожно тронул пальцами мертвую голову и внимательно посмотрел на Юдифь. Она была, как всегда, спокойна и красива, от ее лица словно струился неуловимый свет. И голова Олоферна была овеяна нежностью и любовью Юдифи.

Инфант

Антонина Александровна имитировала оргазм из ряда вон плохо. По окончании действия торопливо соскальзывала с меня — вялого, обессиленного, вспотевшего; неуклюже складывала вдвое свое костлявое дряблое тельце и, обняв обеими руками тощие заостренные коленки, показушно вздрагивала, изображая сладострастные оргазмические конвульсии. Затем же, думая, что я не замечаю, боязливо поглядывала в мою сторону, оценивая в свою очередь, мою реакцию на ее фальшивую страстность. Окидывал я Антонину Александровну в такие минуты нордическим взглядом, точно Штирлиц злосчастные чемоданы радистки Кэт, смиряя невероятным усилием воли мимическую мускулатуру и в то же время, от всего своего девятнадцатилетнего сердца жалел. Да, именно жалел, и никак иначе, а заодно и рассуждал про себя о врожденной женской наивности и даже глупости. Ведь мне, оторванному от родного дома на целых шестьсот пятьдесят километров, к тому же безнадежно рядовому Советской Армии, вполне хватало ее куриного супчика с потрашками, жаренной картошки с тщательно почищенной сельдью и сознания того, что в очередное увольнение, где-то в серо-каменных джунглях Строгино меня кто-то неизменно ждет. Но она ничего не знала, да наверное и не хотела знать о моих «сиротских помыслах», нахально продолжая свое бездарное лицедейство. «Черт возьми, — сокрушался я в сердцах, был бы ты Саня, хотя б на треть Немирович, или на четверть Данченко, точно бы возопил: « Не верю!» Но моя фамилия звучала совсем по-иному и оттого я смиренно молчал.

Познакомились мы с ней, как это не пошло звучит, около элитного американского ресторана именуемого «Трен Мос». (Чем только не напичкивали в те годы Комсомольский проспект). Что я там делал зябким октябрьским вечером в солдатском «стеклянном» ХБ и кирзовых сапогах, трудно вспомнить, но видимо что-то не очень хорошее. Помнится, рядом с этим рестораном находилась овощная палатка, а невдалеке от нее, огражденный плотной сеткой Рабица склад с дынями и арбузами. Случалось, в основном под полночь мы — солдаты-срочники туда бессовестно наведывались. Самый мелкий и худой из нас проникал через узкий проем в закрома уроженцев Кавказа, брал пару-тройку арбузов или дынь-торпед, просовывал их в этот же проем обратно и вылезал сам...

Так вот видимо с одним из тех самых арбузов я и подкатил к проходившей мимо женщине с огненно-рыжими, развивающимися от осеннего ветра волосами. Показалась мне она тогда довольно милой и сексапильной. (Мысли в те годы в моей голове работали исключительно в одном направлении). Может даже и фрукт-ягоду презентовал, не столь важно, но что и говорить, закрутилось, завертелось... Позвонил, приехал... А потом, как говориться, зачастил. И частота моя, стоит заметить, Антонине Александровне пришлось по душе и по телу — одновременно.

Проживала она одна-одинешенька в однокомнатной квартире в том самом Строгино. Работала всю свою жизнь в местной поликлинике лаборантом, то бишь брала у пациентов из верхних конечностей кровь. По словам Антонины Александровны, мужа у нее никогда не было, да и детей за всю свою тридцати семилетнюю жизнь бедняжка не нажила.

— Ты мой сын! — смеялась она, когда выпивала иной раз со мной бокал глинтвейна.

— А что, я готов... мама... — усмехался я, и нежно целовал «старушку» в мочку уха.

И все было бы безоблачно и гладко, кабы как-то раз, оставшись один в ее квартире, я не наткнулся на аккуратно сложенные вместе с другими фотографиями некие снимки УЗИ. Тогда, в конце восьмидесятых сия процедура была не слишком известна и популярна — она только-только входила в обиход. Но моя «огневолосая возлюбленная» работала в медучреждение и соответственно имела льготный доступ к этому виду диагностики. На тех, с позволения ска-

зять, фотографиях был изображен довольно крупный (как говорят медики) плод, а на обратной стороне было даже размашисто начертано — Мал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.